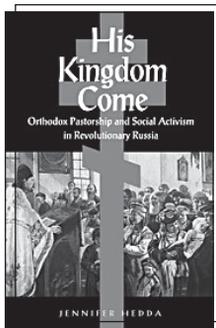


Laurie Manchester. *Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia and the Modern Self in Revolutionary Russia.* DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008. 304 pp.



Jennifer Hedda. *His Kingdom Come: Orthodox Pastorship and Social Activism in Revolutionary Russia.* DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008. 300 pp.

Энди Байфорд (Andy Byford)
Оксфордский университет,
Великобритания
a_byford@hotmail.com

Представленные книги дают дополняющие друг друга переоценки той роли, которую играло духовенство в истории русской интеллигенции, гражданского общества и революционной политике в конце XIX и в начале XX в. Основываясь на исследованиях русского приходского духовенства (прежде всего [Freeze 1983]), авторы в ревизионистском духе новейшей историографии русского православия данной эпохи (см., например, работы Криса Чулоса, Лоры Энгелстайн, Кимберли Херрлингер, Надежды Кизенко и Веры Шевцовой) пытаются пе-

решить традиционно негативные трактовки духовного сословия Российской империи и церковных институций как внутренне слабых и сопротивлявшихся переменам, политически и социально отсталых или, что еще более ужасно, как мало-значительных и неуместных в контексте быстрой модернизации и революционных потрясений, захвативших Россию последних пятидесяти лет царского режима. В обоих исследованиях дана картина русского духовенства (по крайней мере его наиболее прогрессивного крыла), где данное сословие представлено модернизирующейся, все более и более вовлеченной в социальную проблематику и политически активной группой, которая отнюдь не была в разладе со своим временем, адаптировалась к вызовам, порождаемым социальными трансформациями этой исторически ключевой эпохи, и которая сама по себе играла важную роль в этих процессах. Обе книги рисуют образ духовенства как неотъемлемой части русского интеллигентного слоя, разделявшей интеллигентские базовые ценности социального прогресса, а также стратегии гражданской активности.

В центре внимания Лори Манчестер находятся поповичи — сыновья священников, воспользовавшиеся в середине XIX в. возможностями, предоставлявшимися модернизацией, покинувшие свое сословие и занявшиеся преподаванием, наукой, медициной, журналистикой. Историография, посвященная интеллигенции, стремится отделить *поповичей* от их клерикального воспитания, обычно переводя их в категорию разночинцев и представляя в качестве эмблематического воплощения разрушения сословной системы в конце императорской эпохи. Манчестер показывает, что все было отнюдь не столь однозначно, утверждая, что клерикальное воспитание поповичей обладало гораздо более сильным влиянием на их интеллектуальный мир, социальную и профессиональную самоидентификацию, чем это считалось ранее.

Манчестер указывает, что сословная система отнюдь не отмерла после эпохи великих реформ 1860-х гг., но продолжала существовать в XX в. не только на уровне права, но, что более значимо, во взгляде людей на самих себя, а также на их социально «других». В особенности это касалось духовенства, поскольку из всех сословий императорской России оно было наиболее закрытым и напоминавшим касту. С точки зрения исследовательницы, поповичи должны рассматриваться как особая «ветвь» русской интеллигенции, причем истоком их отличий являлись сословная идентичность и традиции даже в тех случаях, когда они подвергались радикальной секуляризации ценности духовенства или отказывались от самой религии во

имя альтернатив, которые предоставляли модернизированные культура и общество. Сословные корни оказались значимыми не только тогда, когда поповичи лишь начали появляться на публичной сцене в виде неотесанных «новых людей», но и десятилетия спустя.

В своей аргументации Манчестер опирается на анализ автобиографий поповичей. Она обнаруживает поразительно общие для этой группы модели того, как поповичи, принадлежавшие к разным профессиям и поколениям, описывали свои корни и осмысливали свои жизненные пути. Эти повествовательные модели, а также этос, которым они были пропитаны, оставались удивительно статичными и однородными на протяжении всей поздней императорской эпохи. У поповичей было исключительно острое осознание своей сословной идентичности и общности; зачастую круг их общения и матримониальный выбор строились на тех же основаниях; нередко они ощущали социальную ответственность в том, чтобы помочь нуждающемуся собрату поповичу, и в целом сохраняли близость к своим семьям, даже покинув священнические дома своего детства.

В первых главах (с первой по третью) обрисован контекст, необходимый для интерпретации автобиографий поповичей: здесь дается исторический фон, обсуждаются межсословные конфликты, а также намечена перспективная модель семейной жизни священника и методики воспитания детей, которую предлагали православные публицисты данной эпохи. Остальные главы посвящены основным периодам жизни поповича, описанным (коллективно) в автобиографиях. Эти этапы включают: детство в семье сельского священника (четвертая глава), образование в бурсе и семинарии (пятая), критический момент расставания с миром духовенства (шестая) и, наконец, поиск «спасения» в светской сфере (седьмая).

Что касается интерпретации русской интеллигенции, Манчестер уходит от ее рассмотрения в качестве «гражданской середины» — особого профессионального и интеллектуального класса, стоящего отдельно от архаичной сословной системы царского режима. Кроме того, Манчестер почти не останавливается на интеллигенции как политической силе — возникающем «гражданском обществе», противостоящем структурам авторитарного и бюрократического государства. Вместо этого исследовательница фокусируется на субъективном понимании интеллигенцией самой себя, и здесь она вводит важнейшее различие между моделью субъективности поповичей и интеллигентов-дворян.

Многое в самоидентичности поповичей строилось на социальных стереотипах. Манчестер демонстрирует (в первой главе),

что многие стереотипы, определявшие восприятие поповичами как самих себя, так и их социально других (в особенности дворян, но также крестьян, торговцев и мещан), восходят к современным церковным писаниям, посвященным социальным ролям и обязанностям разных сословий, включая описание присущих разным сословиям «грехов», а также рекомендованных путей «искупления» — как предписывала православная церковь.

И для поповичей, и для интеллигентов-дворян наиболее значимыми характерными чертами являлись те, которые определяли их соответствующие сословия в качестве «подлинной интеллигенции». Для поповичей наиболее распространенным было акцентирование «иностранности» дворян, а также экспонирование себя как единственных настоящих русских интеллигентов. Кроме того, родившись в деревнях, они любили подавать себя как «собратьев» крестьян и, таким образом, их единственных «естественных» представителей в публичной сфере.

Поскольку описание детства и годов учебы являются центральными моментами автобиографий поповичей, книга Манчестер посвящена отнюдь не только поповичам, но и духовному сословию поздней императорской эпохи в целом.

Исследовательница подчеркивает, что поповичи (как и дворяне) использовали автобиографии для мифологизации своего детства. И дворяне, и поповичи описывают его по большей части как рай, но поповичи обязательно подчеркивают различия между двумя идилиями, выстраивая свой собственный, священнический детский рай вокруг культа сплоченной семьи, где наиболее важную роль играет священник-отец, воплощающий образец набожности, построенный на бедности, трудолюбии, милосердии и патриотизме.

В пятой главе Манчестер дает информативное описание образования молодых пансионеров, учившихся в церковных школах и семинариях. Особо она останавливается на том, как сами поповичи описывали и истолковывали духовное образование, поскольку институциональный опыт становился другим жизненно важным *местом памяти* (*lieu de memoire*), которое превращало их в группу (во время годов учебы и впоследствии, в их светской профессиональной жизни). В первых мемуарах о бурсе — «Очерках бурсы» Николая Помяловского (1862) — она описывается как тюрьма, характеризующаяся суровыми материальными лишениями, жестокими побоями со стороны как преподавателей, так и учащихся старших классов, а также зубрежкой, лишенной какой бы то ни было образовательной или

духовной цели. Позднее в большинстве автобиографий поповичей эта мрачная картина становится несколько светлее, однако большая часть продолжает описывать этот период жизни как «тюремное заключение» и «мученичество».

Делая поповичей — героев своего исследования — столь зависимыми от социальных корней и образования, Манчестер неизбежно подвергает пересмотру образ отцов — приходского духовенства, чей облик оказывается отнюдь не совпадающим с традиционной карикатурой на реакционных, ленивых и невежественных пьяниц, обманывавших и эксплуатировавших своих смиренных сельских прихожан. Говоря о ценностях духовенства и его традициях на более общем уровне, Манчестер имеет в виду главным образом ценности исторически достаточно модернизированного пастырского движения, возникшего в России в 1840-х гг. и набиравшего силу с 1860 гг. благодаря распространению печатной культуры и образования среди духовенства — иными словами, как раз в ту эпоху, когда уже не единичные поповичи начали выходить на публичную сцену. Так, Манчестер связывает ценности поповичей с ценностями настроенного реформистски и модернизаторски духовенства — того самого, которое уходило от своей традиционной функции подготовки прихожан к загробной жизни к гораздо более современной (*modern*) роли — помощи своей пастве в ее социальных, материальных и духовных проблемах в этом мире.

Манчестер интерпретирует реформы, которые пропагандировало пастырское движение, в качестве защитной реакции Русской православной церкви на вызовы модернизации и секуляризации, которые в пореформенную эпоху стали докатываться и до сельской России, особенно благодаря распространению институтов *земства*. Существенным представляется в данном случае, что благодаря пастырским реформам решающий шаг от ценностей священников-отцов к ценностям их секуляризованных сыновей потребовал гораздо меньше усилий, чем нередко полагают. Действительно, данное движение ставило своей задачей пропаганду целого ряда ценностей, которые являлись характерными для интеллигенции в целом, включая образование, трудолюбие и жертвенность, а также императив нравственного и социального совершенствования нации. Как демонстрирует Манчестер в своем анализе некрологов священников, одной из агиографических моделей, возникших в 1860-е гг. (наряду с традиционной моделью «священника не от мира сего»), стал образ духовного лица как протоинтеллигента — пастыря, отличающегося морализмом, общественной деятельностью и занятиями светскими науками.

Одно из ключевых соображений Манчестер заключается в том, что поповичи (как интеллигенты) являлись не столько продуктами пастырского движения (в смысле впитывания этих ценностей через воспитание), сколько *продолжением* этого движения в светском мире. В шестой главе Манчестер стремится продемонстрировать, что и церковь как институция (по крайней мере ее «либеральное» крыло), и само приходское духовенство (отцы поповичей) по большей части поддерживали выход поповичей из духовного сословия. Поступая таким образом, они смотрели на поповичей не как на блудных сыновей, предателей и врагов церкви, но как на «миссионеров» духовного сословия в этом мире. Приходские священники нередко осознавали, что единственной возможностью для их сыновей обрести вертикальную социальную мобильность могла быть таковая во внешнем по отношению к церкви мире.

Как показывает Манчестер, значительное большинство поповичей смотрело на выход из сословия отцов как на выполнение обязанностей и реализацию идеалов, которые были ими впитаны в процессе воспитания (в конечном счете, обязанность «пастырского служения» и идеал «спасения») и которые они не могли бы реализовать в качестве представителей церковной иерархии (с учетом правовых и практических ограничений, мешавших духовенству быть верными своему служению). Эти ограничения включали чудовищную бедность сельского духовенства, возникавшую вследствие этого зависимость от тяжелого сельскохозяйственного труда, торгашество и коррупцию, которые были спровоцированы необходимостью выживать, императив безусловного подобоострастия по отношению к церковным и государственным властям, всевозможные правовые ограничения, касавшиеся участия в общественной и политической сферах и т.д.

Профессии, которые по большей части выбирали поповичи, — земские учителя, врачи и статистики — соперничали с ролью и служением их живших в деревнях отцов (как это понималось пастырским движением). В данном контексте Манчестер жестко противопоставляет представления духовенства и дворянства о профессиональной «службе». В ее интерпретации представление поповичей о своем светском «призвании» связано с идеей «священной» обязанности служить народу, тогда как дворянские представления о службе неосознанно моделировались по типу элиты, находившейся на военной и бюрократической службе у государства. Конечно, эти различия в выборе карьеры связаны не столько со «святостью» как таковой, сколько с разными типами *хабитуса*, которые соответственно воплощали поповичи и дворяне.

В последней (седьмой) главе Манчестер прослеживает «поиск спасения» поповичей в трех разных областях их светского существования: профессиональной сфере, политике и отношениях с женщинами. Здесь фокус исследования смещается от анализа автобиографий поповичей к их дневникам. Манчестер полагает, что они моделировались по большей части по типу исповеднических дневников (будущих священников поощряли вести их во время обучения в семинарии). Тем не менее основная метафора «поиска спасения» представляется несколько натянутой и неубедительной: кажется, что Манчестер сама риторически накладывает ее на материал.

Автор систематически описывает «исход» поповичей из духовного сословия как часть процесса экспансии духовенства на новые — светские — территории. Первым этапом этой экспансии стало пастырское движение; вторым и частично совпавшим с первым — «вторжение» поповичей в публичную сферу, гражданское общество и профессиональные структуры. Манчестер стремится придать этой мысли обобщенный характер и представить ее в качестве альтернативной теории «секуляризации» — теории, которая описывает начало века не как момент дехристианизации, но как период, когда христианские ценности начинают проникать в светские политические движения и профессии. Применение данной теории к русскому материалу заслуживает дальнейших исследований, но случай поповичей едва ли представляет собой решающее доказательство этого процесса.

Гораздо более полезной теоретической моделью в данном случае представляется исторически подкрепленная теория социальной системы профессий (см. [Abbot 1988]), которая без труда инкорпорирует духовенство в качестве особого профессионального сообщества. Манчестер на самом деле пытается соединить свою теорию секуляризации с теорией профессионализации, используя идеи Макса Вебера о том, как «религия» (т.е. протестантизм) в данный момент истории превращается в профессии светского служения. Однако целостное представление о «религии» не становится в книге Манчестер предметом полноценного теоретизирования; это означает, что ее использование подвергшейся ревизии теории секуляризации остается излишне всеобъемлющим и слабым в качестве объяснительной модели.

Материал, к которому обращается Манчестер, оказывается гораздо более эффективным для демонстрации того, как социальные различия, основанные на традиционной для императорской России сословной системе, продолжают влиять на формирование профессий; это свидетельствует о том, что «устаревшие» сословия необходимо рассматривать в качестве

игравших существенную роль в модернизации России в эту важнейшую эпоху, а отнюдь не являвшихся атавистическим препятствием для нее (что предполагает типичное приложение теории модернизации к материалу царской России). В данном контексте «религия» (или «секуляризация») утрачивает свой смысл. Точнее, ее потенциальное включение в систему аргументации потребовало бы гораздо более последовательной теоретической рефлексии о том, что на самом деле в данном контексте означает «религия».

Рецензируемая книга — интересное и информативное исследование, в котором сделана попытка пересмотреть (тонко и читательно) образ духовного сословия позднего императорского периода и его секуляризованного потомства. Вызовы, которые книга бросает существующей историографии русской интеллигенции и общей теории модернизации в России этой эпохи, являются важными и убедили рецензента в необходимости учитывать различия, основанные на сословном происхождении, при изучении профессионального мира России в начале XX в.

Единственная моя придирка к работе заключается в том, что желание Манчестер убедить нас в континуальности, существующей между поповичами и их отцами, постоянно вынуждает исследовательницу чересчур акцентировать якобы жесткие различия между двумя разными «ветвями» интеллигенции — духовной и дворянской. Фокусируя свое внимание на поповичах, Манчестер сводит местами образ дворянской интеллигенции к не более чем карикатурному наброску. Более тонкое сравнение между автобиографическими моделями поповичей и дворян, а также более последовательный анализ *взаимодействия, взаимовлияния и гибридизации* этих двух ветвей станут существенными для нашего понимания русской интеллигенции данной эпохи в сословных терминах.

Книга Дженнифер Хедды, опубликованная одновременно и в том же издательстве, является отличным спутником для исследования Манчестер. В книге рассматривается приблизительно тот же период (от великих реформ до революции 1917 г.); исследовательница использует ту же концептуальную модель (фокусируясь на растущем пастырском движении, а также тесных взаимодействиях между церковными и светскими структурами в эту эпоху). Как и Манчестер, Хедда убеждена в необходимости учета дискурса (каким бы идеализированным или пристрастным он ни был), который духовенство порождает о себе. Сходным образом Хедда отводит видное место саморепрезентациям, таким как воспоминания священников, проповеди, лекции, полемические статьи и официальные

отчеты, в которых ее подопечные высказываются о своих ценностях и устремлениях, касающихся священнического служения и церковных институций. Хедду интересует не только создание священнической православной идентичности в ее модернизированном виде, но и профессионализация и политизация русского приходского духовенства в этот решающий период. Анализ этих процессов, предпринятый исследовательницей, показывает, что сменявшие друг друга реформы, контрреформы и революции позднеимперской эпохи ставили духовенство в положение, сходное со сложной ситуацией светской интеллигенции.

Между тем приходские священники, на которых фокусируется Хедда, едва ли представляют духовное сословие в целом. Она исследует Санкт-Петербургскую епархию, не похожую ни на какую другую в Российской империи. Хедда показывает, что физическое соседство петербургского духовенства с императорской властью и высшим слоем церковной иерархии не только не подавляло его прогрессивной природы, но, напротив, превращало эту церковную группу в авангард пастырской деятельности, церковного реформаторства и даже, по крайней мере в некоторых случаях, в открытую политическую оппозицию самодержавию. Основные причины подобного положения дел заключались в исключительно высоком образовательном уровне этой группы, профессиональных амбициях и гражданском идеализме, который был частью их подготовки в пореформенную эру, и наконец в повседневных контактах этой группы с динамичной светской городской культурой, являвшейся для столичных священников предметом состязания и одновременно источником заимствований, с культурой, на которую они надеялись повлиять.

Герои книги — образованные священники пореформенных времен, большинство из которых получили образование в Санкт-Петербургской духовной академии (преимущественно поколения выпускников 1880–1890-х гг.) и играли активную роль в «Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» (ОРП). К концу XIX в. они не только развили пастырскую активность в столице до беспрецедентного уровня, но и активно боролись за широкие церковные реформы в начале XX в. Наиболее радикальные среди них были вовлечены в открыто оппозиционные политические движения во время и после 1905 г., испытав последствия своей деятельности во время «закручивания гаек», предпринятого государством и церковью.

Первая глава посвящена объяснению исключительного положения петербургской епархии. Особенностью ее являлся не-

ожиданно малый размер — по числу прихожан (по сравнению с Москвой и Киевом, например), священников, обслуживавших епархию, а также приходских церквей, в которых проходили регулярные службы. Хедда полагает, что недостаточное институциональное развитие петербургской епархии оказалось одной из причин того, почему альтернативные гражданские, ориентированные на общество, выходящие за пределы епархии религиозно-общественные ассоциации и организации были представлены здесь в таком изобилии и почему пастырская деятельность была настолько ощутимее в столице империи, чем где бы то ни было.

Петербургская духовная академия (ей посвящена вторая глава) предстает центром церковной жизни столицы. Она не только связывала приходы с церковной иерархией, но как образовательный и интеллектуальный центр играла фундаментальную роль в профессионализации приходского духовенства, выполняя функции, весьма походившие на функции университетов в светском мире. Развитие пастырского движения начиная с 1860-х гг. во многом обязано именно процессу все большей и большей профессионализации среди священников, тогда как духовные академии оказывались жизненно важными для утверждения легитимности этой новой пастырской профессиональной модели. Петербургская академия играла ведущую роль в этом отношении, особенно в пореформенную эпоху во время либерально-го ректорства отца Иоанна Янишева.

После 1881 г., в эпоху контрреформ Александра III, когда Синод возглавлял Константин Победоносцев, происходило «закручивание гаек» в том, что касалось либеральных аспектов духовного образования. Однако Хедда настаивает, что период контрреформ отнюдь не характеризуется сворачиванием программ академии, нацеленных на то, чтобы влиять на внешний мир. Напротив, политика Александра III привела к их расширению и дальнейшей институционализации, особенно после образования в 1880—1881 гг. Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви.

Центральный раздел книги (главы с третьей по пятую) посвящен наиболее характерным аспектам набиравших размах типов пастырской деятельности, развивавшейся в петербургской епархии. В третьей главе описано, как идеология пастырства стала частью представлений о миссии православной церкви (начиная с 1860-х гг.). Хедда показывает, как эта идеология превратила представление о «священнике» в идею «пастыря», который рассматривался по образу Иисуса «сына Человеческого» как просвещенная человеческая личность, чьей задачей является гибко и творчески окормлять свою паству,

а также не только учить ее хитросплетениям христианского богословия (хотя это и оставалось значимым), но и снабжать базовыми знаниями, а также советами по прозаическим предметам вроде семейных отношений или, например, гигиены.

Хедда отмечает, что радикальный пересмотр роли духовенства в эту эпоху отчасти был ускорен прямой конкуренцией с его соперниками в религиозной сфере. Впечатляющие проповеди французского монаха-доминиканца отца Жана Суаяра в конце 1850-х гг.; популярные учения английского христианского евангелиста лорда Редстока и его русских последователей в 1870-е гг.; дебаты со старообрядцами; страстное увлечение высшего общества на рубеже веков спиритизмом; вызовы религиозно настроенных, но по большей части антицерковных светских интеллектуалов (таких как поэты Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус с их Религиозно-философским обществом). Православное духовенство в данном случае свободно и напрямую заимствовало аргументы из арсенала своих непосредственных оппонентов, используя проповеди, лекции и публичные дебаты в качестве инструментов идеологического убеждения и религиозной пропаганды (причем со смешанным успехом, особенно в том, что касалось наиболее образованной части интеллигенции).

Тем не менее Хедда стремится показать, что пастырские реформы православного духовенства не были ориентированы исключительно на защиту своей традиционной территории — сферу божественного или духовного. Исследовательница полагает, что проповедническую деятельность подталкивала необходимость не только усилить религиозную власть, но и создать возможность более эффективной гражданской деятельности через развитие сети находящихся под церковным руководством благотворительных обществ, обществ трезвости и образовательных проектов для бедных (об этом идет речь в четвертой и пятой главах). Хедда настаивает на том, что взаимоотношения между церковью и обществом в данном случае следует описывать как форму не соперничества, но сотрудничества. Она критикует историографию за систематическую сегрегацию светских и церковных структур в области общественной деятельности, убедительно показывая, что священники и миряне обычно работали совместно или даже зависели друг от друга.

В последнем разделе монографии (главы с шестой по девятую) внимание исследовательницы сдвигается от общественной деятельности духовенства к политической. Главы шестая и седьмая фокусируются соответственно на двух показательных и при этом контрастных представителях петербургского духовенства начала XX в.: «либерале» отце Григории Петрове

(образцовом пастыре и наиболее влиятельном проповеднике своего поколения, который был лишен сана за высказывания о необходимости участия духовенства в политике в 1905 г.) и «радикале» отце Георгии Гапоне — до сих пор вызывающем споры организаторе шествия рабочих с петицией к Зимнему дворцу, которое спровоцировало побоище Кровавого воскресенья и с которого началась Революция 1905 г.

Отец Григорий Петров представлен основным идеологом политизации пастырского движения в начале XX в. в России. Хедда отмечает, что он находился под прямым влиянием Американского социального евангельского движения и осмыслял роль духовенства как вершителя подлинных социальных перемен (что было воплощено в представлении о Царстве Божьем, основанном на идеале социальной справедливости и приближающемся к западным формам христианском социализме). Однако в противоположность американским социальным евангелистам отец Григорий полагал, что социальные изменения произойдут благодаря не столько коллективным действиям самих угнетенных, сколько руководящей роли просвещенного духовенства. В этом отец Григорий оказался идеологически ближе к русской либеральной интеллигенции, а в эпоху, предшествовавшую Революции 1905 г. и приведшую к ней, он открыто выступил за союз между прогрессивным духовенством и либеральными политическими партиями. Местом активности духовенства оказывался предполагаемый разрыв между политически грамотными и активными либеральными образованными классами и необразованными массами, которые, по схеме отца Григория, нуждались в представителе.

Совершенно иной тип церковника, занимавшегося общественной деятельностью, представлял собой отец Георгий Гапон. Благодаря своей видной роли в событиях 1905 г. он гораздо лучше известен историкам, чем отец Григорий, однако Хедда отмечает, что большинство историков не смогли понять контекст общественной деятельности духовенства в эту эпоху и укорененность отца Георгия в энергичном пастырском движении Петербурга. Хедда описывает взгляд отца Георгия на самого себя — как на священника-мученика и героя, «пророка», чья роль представлялась ему ролью прямого посредника между народом и царем. Автор признает, что отец Георгий был во многих смыслах необыкновенным клириком, но показывает, что критика отца Георгия внутри церкви фокусировалась только на трагической развязке и чрезмерной природе его поступков, причем об отказе от социальной миссии церковных «внешних» программ для рабочих и бедняков, откуда выросли деяния отца Георгия, тактично не упоминалось.

После 1905 г. политическая деятельность духовенства концентрируется на гораздо более узком вопросе реформирования самой церкви. Поэтому последние две главы исследования посвящены стремлению духовенства радикально трансформировать конституционные отношения церкви к самодержавной власти. Хедда показывает, что внутри церкви существовал консенсус по поводу того, куда должны привести реформы, но что сам процесс реформирования встречал препятствия со стороны таких фигур, как Константин Победоносцев, и еще более откровенно со стороны самого Николая II. Автора интересует роль, которую играло петербургское духовенство в решении этих вопросов, особенно деятельность так называемой группы петербургских священников, возглавлявшейся отцом Петром Кремлевским, который вдохновлялся писаниями отца Григория Петрова. Эта группа использовала агрессивную тактику, открыто требуя ускорения процесса церковного реформирования, для этой цели она даже сформировала политическую партию во время выборов в первую Думу — Братство ревнителей церковного обновления. Открытое политиканство группы и жесткая критика процесса церковных реформ превратили ее членов в диссидентов, отчужденных от церковной иерархии, в силу чего эти священники стали легкими мишенями для консервативной реакции, последовавшей после 1907 г.

Период между 1907 и 1917 гг. был отмечен угасанием деятельности петербургских церковных организаций, нацеленных на «внешний» мир (таких как ОРРП). Исследовательница представляет «героическое» поражение политики церковных реформаторов этого периода как следствие репрессивных мер реакционного государства, хотя она признает, что духовенство само было внутренне разделенным и нередко совершало противоречивые и непродуктивные политические шаги.

Книга дает глубокий и откровенный анализ профессионализации, общественной деятельности и политической активности петербургского духовенства пореформенной поры. Единственная проблема, которую видит рецензент в этой работе, заключается в нечеткости, которая заметна, когда автор обращается к идеологическим основаниям, на которые опиралось духовенство в своей деятельности. В картине, нарисованной Хеддой, идеология русского пастырского движения и его последующей политизации содержится в одной основной метафоре — так называемого Царства Божия. Отголоском этой метафоры становится название исследования (His Kingdom Come). Между тем подлинный смысл Царства Божия не стал предметом исследования Хедды, хотя она постоянно упоминает об этом как о крайней социальной утопии, высшем социальном и по-

литическом идеале, за который боролось прогрессивное духовенство этой эпохи — «Царство Небесное на Земле», которое одновременно должно было стать «новой Россией», страной, «построенной на евангельских принципах».

Хедда не дает критического анализа модели Царства Божия; эта конструкция представлена как уникальный сплав «традиции и современности», который автор рассматривает в качестве однозначно позитивного. Во всей книге эта модель остается непроблематизированной — идеалом, который мы, читатели, просто должны принять (и почувствовать симпатию — кто же будет возражать против осуществления столь благородного идеала, как «Царство Божие на Земле»?). Хедда так и не объяснила, например, что проблематичного находили светские интеллектуалы данной эпохи в стремлении духовенства воплотить религиозно оформленную утопию: идеологические конфликты между церковной и светской интеллигенцией представлены просто как вызывающее сожаление «непонимание» между естественными соперниками.

Хедда блестяще показывает, что петербургское духовенство нельзя рассматривать в качестве консерваторов, которых удовлетворял статус-кво, и что значительное число петербургских священнослужителей было убеждено в том, что создание политически оппозиционной платформы не просто желательно, но неизбежно. Однако в исследовании политические пристрастия духовенства заслонены неземным образом Царства Божия. Оно предстает эмблемой уникальной социополитической программы духовного сословия в отличие от аналогичных идеалов светских политиков; между тем в реальности идеал Царства Божия только затемняет основные социополитические пристрастия духовенства.

Особенность клерикального политиканства этой эпохи заключалась в том, что оно отражало политическую деятельность, будучи стратегически предназначено для того, чтобы остаться, так сказать, по ту сторону зеркала — в стерильной чистоте морального и социального идеализма, который воплощает метафора Царства Божия. Как правило, императив «не замарай рук политикой» оставался весьма актуальным даже для тех священнослужителей, вроде отца Григория Петрова, которые открыто выступали за участие духовенства в светской политике. Те представители духовенства, которые прикладывали все силы, чтобы не остаться на «безопасной» стороне этого «зеркала», но на самом деле пройти сквозь него, просто оказались «сгоревшими» — и как священники, и как политические деятели. Более существенно, что на другой стороне этого «зеркала» (в реальной политике) Царство Божие переставало быть всех устраивающей

и идеологически непроблематичной общественно-религиозной утопией и превращалось (в случае отца Григория Петрова) в абсурдную химеру церковника, страдающего мегаломанией, который, именно «запачкавшись» в политике, считает себя фигурой, равной Иисусу, приносящей себя в жертву и идущей на мученичество ради униженного человечества.

Понятно, что, с симпатией изобразив петербургское духовенство позднеимперской эпохи, автор настроен на пересмотр откровенно критических и упрощенческих стереотипов в репрезентации духовенства. Тем не менее исследованию Хедды несомненно пошли бы на пользу более критический взгляд на идеологию русского пастырского движения, а также деконструкция основной метафоры («Царства Божия»), которую исследовательница использует чересчур восторженно.

Библиография

Abbot A. The System of Professions. Chicago, 1988.

Freeze G. The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia. Princeton, 1983.

Энди Байфорд

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума



Джекобсон М., Джекобсон Л. *Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917 года)*. М.: Изд-во СГУ, 2006. 504 с.

Михаил Лазаревич Лурье

Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств
mlurie@inbox.ru

Песенный фольклор как зеркало русской оппозиции

В 2006 г. вышла новая книга американских собирателей и публикаторов русского фольклора Майкла и Лидии Джекобсон, хорошо известных российским фольклористам по

двухтомному сборнику «Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник» (М., 1998; М., 2001). Однако если в последнем были представлены в основном тексты тюремно-лагерного фольклора, то рассматриваемое издание прежде всего поражает пестротой включенного в него материала, чрезвычайно разнообразного как в жанровом и тематическом отношении, так и с точки зрения времени возникновения, среды бытования, прагматики исполнения, авторства и т.д. Книга, помимо предисловия, комментария, примечаний, глоссария, списка источников и алфавитного указателя, включает около 300 песенных текстов, в основном взятых из известных фольклорных изданий (в частности, из сборников Кирши Данилова, Шейна, Соболевского, Гартевельда, Элиасова, Азадовского, Балашова и многих других) и распределенных по главам, разделам и подразделам.

Главы всего две: «Старые песни» и «Новые песни». Авторы объясняют это разделение следующим образом: «Новые не испытали влияние современного стихосложения, импортированного из Европы в XVIII в. Они имеют рифмы и ритмический рисунок стихотворных произведений, которых не было в старых песнях. Такое разделение по стилю, как правило, соответствует хронологическому разделению» (С. 20). Старые песни представлены разделами «Былины», «Исторические песни», «Разбойничьи песни», «Семейно-бытовые песни» и «Тюремные песни», к новым отнесены «Агитационные и революционные песни», «Песни разбойников, беглых и бродяг» и снова «Семейно-бытовые» и «Тюремные».

Таким образом, на страницах книги сосуществуют, например, былина об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике и лирическая песня «Ах, как увяли в поле алы цветики», известные разбойничьи и тюремные песни вроде «Не шуми, мати зеленая дубравушка» и популярный романс «Живет моя красотка в высоком терему», агитационные песни-стилизации декабристов и классические баллады «Василий и Софья», «Князь Роман жену терял». Это, разумеется, не на шутку интригует. Объяснение такой бросающейся в глаза неоднородности состава текстов стоило бы искать прежде всего в названии сборника — «Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917 года)». Между тем само по себе оно мало что объясняет, поскольку все три понятия не имеют единого определения и под каждым из них могут подразумеваться различные вещи.

Обратимся к предисловию, в котором изложен замысел книги и лежащая в его основе система научных взглядов. В общем виде она сводится к следующим тезисам.

1. Отражение в песне народных представлений. Песенный фольклор, описывающий преступления и наказания, напрямую отражает существующие в народе взгляды. Это, как правило, представления определенных социальных групп, включая и «правительственные круги», но гораздо чаще тех, кто оказывался в роли преступников и осужденных, шел против закона, находился в оппозиции существующему порядку, как-то: «казаков, староверов, сатириков и бродячих актеров, романтических поэтов, революционеров и профессиональных преступников» (С. 21). Распространенность всех песен, в частности и песен авторского происхождения, и тех, в которых отразились взгляды указанных групп, свидетельствует о том, что народ в целом разделял эти взгляды. «Популярность песен позволяет предположить, что взгляды, высказанные в них, были знакомы широким кругам в России. И потому песни могут служить источником для изучения отношения к преступлению и наказанию <...> значительной части русскоязычного населения страны» (С. 12).

2. Взгляд на преступление и наказание. На всякое преступление и на всякое наказание возможны два взгляда: с точки зрения того, кто совершает преступление, и с точки зрения того, кто считает это преступлением и за него наказывает — иначе говоря, взгляд народный и взгляд правительственный. Эти взгляды всегда были противоположны, и согласия быть не могло, поскольку в России правительство никогда не было заодно с народом. Абсолютное большинство песен выражает антиправительственное отношение к преступлению и наказанию, что свидетельствует о его большей распространенности в обществе. Этим же объясняется и большая популярность песен на эту тему. «Отчуждение общества от правительства повлияло как на отношение людей к песням о преступлении и наказании, так и на содержание этих песен. Отчуждение способствовало их популярности» (С. 39). Взгляд на преступление и наказание сказался и на отношении к самим преступникам, также отраженном в песнях. Наиболее характерное для русских песен сочувственное и иногда даже уважительное отношение к нарушителям закона «частично объясняется отчуждением общества от правительства. Сочиняя и исполняя песни, сочувствующие тем, кого правительство осудило, люди выражали оппозицию правительству» (С. 36).

3. Историческая динамика. Если расположить песни о преступлении и наказании в хронологии их возникновения и произвести несложные подсчеты, то становится очевидной динамика и их популярности, и выражаемого ими отношения к преступлению и наказанию. Во-первых, с 20-х гг. XIX в. интерес

к этой теме резко возрос, что особенно хорошо заметно по песням литературного происхождения, получившим распространение в фольклорном бытовании с конца XVIII столетия. Во вторых, до конца XVIII в. (т.е. среди старых песен) встречаются как выражающие народный взгляд на преступление и наказание, так и те, которые отражают взгляд правительственный, а с начала XIX столетия (среди новых песен) последние полностью исчезают. И то, и другое объясняется тем, что отчуждение общества от правительства достигло к XIX в. наибольшего градуса. «Правительству не удалось преодолеть отчуждения. Песни XIX в. отражают эту неудачу. <...> Высшие классы сыграли решающую роль в этом процессе, так как, в основном, высшие классы сочиняли и те, и другие песни» (С. 39).

Создавая «наиболее полное собрание фольклорных песен о преступлениях и наказаниях», М. и Л. Джекобсоны стремились не только «предоставить удобный доступ» к тематически цельному, по их мнению, корпусу песен, «которые ранее можно было найти в разных публикациях» (С. 12), но и проиллюстрировать, как народные представления о преступлении и наказании отражаются в различных по времени происхождения песнях. Чтобы читатель правильно понимал, какой взгляд выражает та или иная песня или ее вариант, авторы сопровождают каждый текст, помимо исторического и фольклористического, еще и содержательным комментарием, своего рода резюме. В некоторых случаях эти комментарии состоят почти исключительно в сжатом пересказе песни и в констатации, кому «песня сочувствует» и кого «песня осуждает»: «Песня осуждает убийство. Души убитых названы безгрешными, их кровь безвинной» (С. 186); «Девушка хотела отравить недруга, но отравила любимого брата. Зло наказано. Девушка плачет и убивается» (С. 192); «Сокол грустит, что его крылышки не уносят его из неволи. Песня вызывает симпатии к соколу, будь он заключенным или пленным казаком» (С. 241); «В песне политический заключенный обещает не прекращать борьбу за свободу до самой смерти» (С. 267); «Песня призывает крестьян восстать, отобрать землю у дворян силой и поделить ее» (С. 327) и т.п. Эвристическая ценность такого сопровождения не вполне очевидна, но большее недоумение вызывают те случаи, в которых авторы позволяют себе более развернутые интерпретации смысла и характера текста. Например, комментарий к известному романсу «Почему ты ямщик перестал песни петь?» завершается так: «Образ бежавшей из тюрьмы заключенной в песне исключительно привлекательный. Ее убийство жандармами представлено как преступление. Песня романтическая» (С. 437). Если первый тезис не вызывает особых сомнений, то два последующих сами по себе нуждаются в комментариях. Как из фразы «Кто-то выстрелил вдруг прямо в деви-

чью грудь, и она, как цветочек, завяла» следует, что убийство представлено именно как преступление, а не как, например, проявление злого рока (ср. в следующей строфе: «Но недолго пришлось ей на свете гулять, за кустом ее смерть поджидала») или, в конце концов, просто аморальный поступок? Каковы в таком случае границы самого понятия *преступление*? И в каком смысле эта песня романтическая — грустная? плохо заканчивается? выражает переживания героя-повествователя? содержит мотив одиночества?

В другом (не лишенном остроумия) комментарии говорится, что в приведенном варианте былины «Илья Муромец представлен как идеальный воин и полицейский. Он применяет силу только тогда, когда это необходимо. Так, он арестовывает, но не убивает Соловья-разбойника, который до этого пытался убить его. Он не мстит детям разбойника, которые также покушались на его жизнь» (С. 61). Вероятно, авторы считают, что в былинные времена по отношению к «воинам и полицейским» были в ходу те же гуманистические идеалы, что и у создателей голливудских фильмов.

Дело, однако, не в сопроводительных замечаниях, а в самой концепции (см. выше ее краткое изложение), определившей и идею сборника, и его структуру, и подбор текстов, и характер содержательных комментариев. На наш взгляд, эти построения включают целый ряд ошибочных исходных позиций и необоснованных допущений. Это проявляется на различных уровнях, начиная с сомнительности самой теории отражения и неправомерности применения ее к фольклору и заканчивая значимыми частностями: так, авторы не делают различия между фигурами *преступника* и *заклученного*, тогда как это два абсолютно различных типа персонажа, тем более когда речь идет о лирических жанрах. Остановимся подробнее на двух соображениях.

Во-первых, М. и Л. Джекобсоны используют понятия «преступление» и «наказание» так, как будто их культурная семантика всегда была единой в различных социокультурных кругах и оставалась неизменной на протяжении многих эпох. Очевидно, что это не так, не говоря уже о том, что сами слова «преступление» и «преступник» — а значит, и соответствующие концепты — появились в русском языке и культуре сравнительно недавно, во всяком случае значительно позже, чем возникли былины и многие исторические песни, приводимые в сборнике. Понятие о преступлении как о нарушении государственного закона и о наказании от лица государственной судебной власти было как раз более актуально для «правительственных кругов» и близких к ним слоев населения, чем для

широкого и социально пестрого сообщества носителей песенного фольклора, по крайней мере до середины XIX в. В традиционной культуре представление о запретном и наказуемом в большей степени обеспечивалось, с одной стороны, системой религиозно-этических взглядов и связанным с ними концептом греха, с другой стороны — запретами и предписаниями обычного права, которые кардинально отличались от государственных законов и к тому же значительно варьировались между территориальными и социальными группами.

Используя столь размытую, заведомо условную систему базовых понятий, авторы-составители книги обрекли себя на противоречие между материалом и собственной исторической концепцией. С одной стороны, судя по сюжетам вошедших в сборник песен, в качестве преступления «годятся» любые описанные в песне формы нарушения закона, порядка или морали, а также проявления насилия со стороны властей, работодателей и т.п., а в качестве наказания — любые его виды, методы, источники. Так, преступление Соловья-разбойника заключается в том, что он «в течение 30 лет убивал свистом, криком и, что особенно безобразно, змеиным шипением каждого, кто появлялся на его земле» (С. 62), князя Романа — в убийстве жены ради жизни с другой женщиной (С. 194), а царя — в том, что он «сосет народную кровь» (С. 339); наказанием для матери Василия служит «потеря сына» (С. 181), для молодца-разбойника — битье кнутом (С. 235), а для душегуба, убившего младенца, — смертельный удар молнии (С. 355). С другой же стороны, как следует из предисловия, отношение ко всем этим разнообразным преступлениям и наказаниям располагаются авторами строго в поле отношений правительства и общества. Очевидно, что если это справедливо для одних групп песен (описывающих бунты, призывающих к революции и т.п.), то для большинства произведений, включенных в сборник, такая интерпретация абсолютно не релевантна. А если вспомнить, что отношение к преступнику/заключенному прямо проецируется авторами на отношение к преступлению/наказанию, то по этой логике получается, что если «песня осуждает» преступника (например, коварную мать-убийцу в балладе о Василии и Софье, С. 181), то в этом выражается правительственный взгляд на преступление, а если «не осуждает» или «сочувствует» ему (например, любовнику, убивающему старого мужа возлюбленной в жестоких романсах, С. 365–368, или приговоренному к казни, который просит о выкупе, С. 248–250) — то народный, т.е., по-видимому, антиправительственный.

Во-вторых, авторы книги абсолютно игнорируют различия в жанровых особенностях и происхождении песен. При таком

наполнении, как в данной книге, понятие «русский песенный фольклор» выглядит как искусственный конструкт, а то, что авторы обобщенно называют этим словосочетанием, вообще неправомерно рассматривать как сколько-нибудь единый пласт культуры. Дистанция между былиной о Чуриле Пленковиче и песней «Смело, товарищи, в ногу» по всем параметрам настолько велика, что едва ли корректно сопоставлять эти произведения, тем более по идеологическому признаку, лишь на основании того, что они пелись многими русскими людьми.

К столь разнородным текстам нельзя подходить с единой меркой теории отражения: продолжая метафору, можно сказать, что не только форма и степень кривизны зеркала, но и сам объект отражения у многочисленных жанрово-стилистических групп песен, включенных в сборник, абсолютно различны. Это не в последнюю очередь связано с различием их функций. Так, песни, специально сочиненные революционерами с агитационными целями, отражают определенный набор идей и программ; их содержание, в частности понятие о преступлении, идеологически предопределено их задачами. Напротив, например, лирическая песня не может и не должна последовательно отражать какой бы то ни было (правительственный или общественный) взгляд на преступление и наказание. В компетенцию лирики входит не мнение социальной группы, но переживание лирического героя, и в зависимости от того, кто он, песня будет «сочувствовать» жертве или преступнику, а при случае и палачу.

То же самое относится и к народному героическому эпосу. Илья Муромец привозит князю живого Соловья-разбойника не потому, что былина хочет представить богатыря как «идеального воина и полицейского», а потому, что таков лучший способ продемонстрировать свою силу перед правителем и другими богатырями, а ему, как эпическому герою, поступать так предписано законами жанровой поэтики. Поэтому достаточно наивно видеть в былине «правительственный» либо какой-нибудь другой «взгляд на преступление». Независимо от того, является герой разбойником или дружинником, служит князю или находится в оппозиции, былина транслирует представления не о преступлении и/или наказании, а о моделях поведения эпического героя.

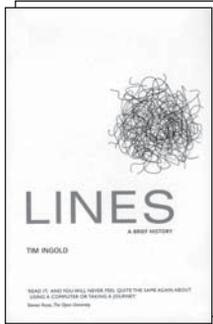
Желая быть объективными или сталкиваясь с ситуацией, когда «факт не подходит под концепцию», авторы делают оговорку лишь для песен, которые они называют сатирическими и которые, по их мнению, «стоят особняком, так как их целью было не описание преступления, а увеселение публики» (С. 27).

Однако это оговоренное исключение только подчеркивает шаткость исходной посылки: по умолчанию получается, что все остальные включенные в сборник жанровые разновидности изофункциональны и имеют целью не что иное, как описание преступления и выражение отношения к задействованным в нем лицам. Первое очевидно неверно, а второе, если в какой-то мере и справедливо для отдельных групп текстов, то лишь для некоторых разбойничьих и тюремных песен и хулиганских частушек, но никак не для былин, баллад, большинства исторических песен, романсов, революционных песен и т.д.

По сути дела, авторы попытались совместить в одной книге две: тематический сборник фольклорных текстов и историческое исследование народного менталитета. В результате эти две задачи вступили в противоречие. Как издание фольклора книга получилась сумбурной, поскольку опубликованные в ней произведения слишком разнородны по множеству параметров, и малоинтересной, поскольку практически все представленные тексты, кроме нескольких записанных самими составителями, хорошо известны и не раз опубликованы. Как научная монография — достаточно схематичной и не слишком убедительной, поскольку весь авторский исследовательский текст состоит в предисловии, описывающем разновидности публикуемых песен в свете концепции отражения в фольклоре народных взглядов, а также в комментариях к песням, фрагменты которых мы приводили выше.

На наш взгляд, то безусловно ценное, что есть в этой книге, может легко остаться незамеченным. Это ее научный аппарат: библиография использованных источников, превышающая 200 позиций, и главное — примечания, в которых авторы дают краткий обзор известных им опубликованных вариантов каждой песни и ее историко-фольклористических интерпретаций. Здесь сказалась колоссальная эрудированность авторов в области русской песенной традиции, истории ее собирания, публикации и изучения. Для тюремных и разбойничьих песен, а тем более «новых», появившихся в XIX—XX вв., такие данные сведены лишь по нескольким сюжетам, попадавшим в поле внимания фольклористов; и нет сомнений, что материал по разбойничьим, хулиганским, блатным, тюремным, лагерным песням, собранный Майклом и Лидией Джекобсонами при подготовке данной и предыдущих книг, мог бы лечь в основу работы над большим и важным разделом каталога фольклорных песенных сюжетов, насущная потребность в появлении которого очевидна.

Михаил Лурье



Tim Ingold. *Lines: A Brief History.*
Oxon and New York: Routledge, 2007. 186 pp.

«Нам лучше бы развивать амбициозную антропологию, рассказывающую о всеохватной человеческой истории на глобальном уровне и на протяжении длительного времени, нежели ту, что создает противоположность между Западом и остальным миром, а затем просто рассматривает последние двести лет колониальной истории, <...> почти переопределив себя как исследование условий перехода от модерности к постмодерности», — заявил в недавнем интервью [Jones 2003: 7] Тим Ингольд — профессор социальной антропологии в университете Абердина. «Краткая история линий» написана им в полемике с теми, кто историю человечества отождествляет с модерностью, понимая под историческим контекстом своего исследования лишь последние двести-триста лет. Мысль в этот период, как известно, работала дихотомически. В результате сложились противопоставления природы и культуры, технологии и искусства, репрезентации и опыта, разума и материи, умозрения и чувственного восприятия, интеллекта и интуиции, традиции и новации, цивилизации и дикости, модальностей слуха и зрения, ограниченность которых увлеченно демонстрирует сегодня целый ряд авторов. Среди них — французский социолог науки Брюно Латур, показавший, как гибридные объекты исследования были разведены по ведомствам естествознания и социального

Елена Германовна Трубина
Уральский государственный
университет им. А.М. Горького,
Екатеринбург
eletru@hotmail.com

знания [Latour 1993], и британский географ Найджел Трифт, в рамках своей «не-репрезентативной теории» осваивающий невербальные и предискурсивные способы обретения людьми идентичностей [Thrift 2007].

Ингольд, черпая вдохновение в феноменологической традиции¹, исходит из того, что люди и другие живые существа населяют землю, не столько занимая то или иное место, сколько участвуя в становлении самого мира, прокладывая свой путь по земле и вплетая его в полотно жизни. Его цель — попытка создания компаративной антропологии линий, объединяющих между собой такие значимые практики, как ходьба, плетение, наблюдение, пение, рассказывание историй, рисование и письмо (С. 1). Прежде всего линии движения, а не вещи образуют мир — убежден Ингольд. Линии *обитания* на земле он защищает от линий овладения землей, или линий ее оккупации, проложенных с пренебрежением к уже существующим и плотно переплетенным людским путям так, как если бы перед колонизаторами лежала чистая поверхность. Знание обитателя местности и знание ее оккупанта создаются по-разному, они связаны с двумя модальностями путешествия — странствием и транспортом. В первом случае путник всегда где-то, и это «где-то» — на пути еще куда-то (С. 81). Реальность буквально упорядочивается им *по ходу дела*². Так, название мест здесь увязано с историями о том, как до этих мест добираются. Во втором случае каждое движение ориентировано на особую цель, а покоритель пространства, выехав из пункта А и направляясь в пункт Б, мыслит пространство между этими ориентирами как «нигде». Нефтепровод или железная дорога прокладываются по прямой поверх нахоженных людьми и животными дорог и тропок. Они открывают доступ к прежде недоступным ресурсам ценой потревоженных жизнью тех, кто жил здесь от века.

Модерность придала особую значимость прямой линии, воплощавшей торжество детерминистского мышления и рационального замысла над хаосом природного мира, *неуклонного* культурного прогресса, над отдельными проявлениями не-

¹ Феноменологическая теория Мерло-Понти весьма подробно обсуждается и интересно используется Ингольдом в другой его книге: [Ingold 2000]. В этой книге он касается и феноменологии М. Хайдеггера. Значимость феноменологической традиции для антрополога определяется ее критичностью по отношению к модерности и, в частности, к тем вариантам модернистской парадигмы, что воплощают собой конгитивная наука, неodarвинизм, психоллингвистика и рационалистическая философия. Философская критика картезианства, осуществленная Мерло-Понти и другими феноменологами, считает он, может быть объединена с критикой неodarвинизма современными биологами-девелопменталистами и критикой традиционной культурной антропологии сторонниками теории практики.

² См. об этом подробнее: [Ingold 2000].

управляемости. Целеустремленная прямизна движения по плану противостоит всевозможным колебаниям и отклонениям. Линейная логика современного интеллекта утверждает себя за счет критики уклончивости и извилистости путей мышления других людей, культур и времен. Ингольд замечает, что в английском языке содержится немало метафор, припечатывающих разного рода аномалии указанием на их «непрямизну»: «перекрученный» разум извращенца, «кривой» — преступника, «увертливый» — афериста и «блуждающий» — идиота (С. 153). Отклонившихся и сбившихся с пути нужно было *направить* на путь истинный, предварительно разметив вверенную территорию прямыми линиями. Неслучайна связь между проведением прямых, «нормальных» линий и функционированием власти. Эта связь содержится в английском слове *rule*, два главных значения которого — правитель (тот, кто контролирует территорию) и линейка (инструмент для проведения прямых линий). Правитель намечает курс действий, линейку используют для изготовления планов и чертежей. Если прежде в ходе возведения зданий линии наносились на землю по ходу дела, с большой долей импровизации, то постепенно архитекторы перестали быть «бригадирами» строителей, сосредоточившись на создании чертежей. Власть чертежей и планов, часто изготовленных вдали от строительства, подкрепляется сегодня законами и контрактами. В компьютерном же архитектурном дизайне исчезают и последние следы движения человеческой руки. Но интимная связь между жестом и надписью на поверхности оказалась сломанной уже в работе печатного станка. Сегодня вооруженный компьютером автор выражает свои чувства выбором слов, а не экспрессивностью линии, порожденной его рукой. С точки зрения Ингольда, современное письмо, обходящееся без механической работы руки на листе бумаги, венчает процесс разделения языка и музыки, речи и песни, рисования и письма.

Вот почему автор сосредоточивается вначале на тесной связи исполнения («перформанса») и познания, декламации и медитации, сложившейся в Античности и Средние века и проявившейся в специфическом понимании практик чтения, письма и пения. Надписи и тексты были предназначены для оглашения. Право на голос имели даже артефакты: горшок VIII в. до н.э., найденный неподалеку от Неаполя, *гласил*: «Укривший меня — ослепнет» (С. 14). Чтение предполагало произношение написанных слов. Когда мы умиленно смотрим на шевелящего губами при чтении ребенка, помним ли мы о феномене *voces paginarum* («голоса страниц»), обозначавшем проборматывание священных книг, что заполняло голову клерика хором голосов? Постигание священной истины и телесная активность

были сплетены воедино не только в декламации, но и в запоминании текста посредством его прочтения: «память насыщалась чтением подобно тому, как желудок — едой» (С. 17). Песни запоминались со слуха, а первые ноты служили опять чисто мнемоническим целям — помочь певцам запомнить песню вместе со словами. Ингольд показывает, как постепенно музыку отделили от слов: первоначальное единство было разделено на два регистра — языка и музыки, для каждого из которых сложилась своя система записи: «слова, когда-то существенные для музыкальности песни, сегодня “добавляются” к музыке как аксессуары» (С. 24). Мелодия, так же как и письмо, оказалась отделенной от жестов, с помощью которых она была произведена, а ее запись перестала быть записью жестов.

Затем автор обращается к проблеме связи линий и поверхностей, на которые они наносятся. Он делит линии на нити и следы. Нить может быть переплетена с другой нитью или подвешена в трехмерном пространстве. Моток шерсти, ожерелье, рыболовная сеть, водопровод, электропроводка, колючая проволока, подвесной мост, корни деревьев, ризомы, грибной мицелий — все это линии-нити. Способность к изготовлению нитей и их переплетению указывает на возникновение специфически человеческой формы жизни (С. 42). Есть две причины, по которой это обстоятельство недостаточно изучено историками и археологами: во-первых, многие нити и полотна сделаны из органических материалов, которые плохо сохраняются, а во-вторых, плетение традиционно мыслится как женская работа.

Линии-следы — это долговечные отметки, сделанные на твердой поверхности посредством непрерывного движения (С. 43). *Аддитивные* следы оставляют на поверхности дополнительный слой — мела на доске, угля на бумаге. *Редуктивные* следы, напротив, достигаются удалением материала с поверхности процарапыванием, выжиганием и т.д. Слизистый след улитки аддитивен, а отпечатки коровьих копыт на глине редуктивны. К нитям и следам антрополог добавляет еще разрезы, трещины и складки. Плуг или лопата врезаются в землю, создавая новую поверхность. Погода и время расщепляют камни и деревья и собирают складками кожу. Все это линии, которые присутствуют в окружающей среде и в телах живых организмов. Есть, однако, еще призрачные линии. Не такими ли являются созвездия — невидимые линии, которыми издавна упорядочивали звездное небо?

Есть условные линии, нарушение которых имеет реальные последствия. Автор, главное «поле» которого было в Лапландии, вспоминает участие в охоте на оленей неподалеку от российско-финской границы четверть века назад. Граница пред-

ставляла собой полоску леса и, предполагалось, проходила по середине этой полоски, будучи только изредка отмеченной столбами. Пересеки ее автор случайно — с советской стороны раздался бы выстрел. Кроме пограничных линий, временные, рыболовные и воздушные зоны невидимо, но властно делят мир.

Понятно, что такая своеобразная оптика исследования — демонстрация *созданности* мира линиями — предполагала освоение большого числа археологических, исторических, этнографических, литературных и художественных источников. Не были забыты ни дневники Кандинского, ни перформанс английского художника Ричарда Лонга, ходившего по зеленому лугу до тех пор, пока не он оставил отчетливую линию. Примеры Ингольда охватывают собой поистине всю историю человечества. География их также весьма широка: от надрезков на ушах, которыми метили своих оленей саами, до ритуальных спиралеобразных рисунков народа Уолбири в Центральной Австралии. Но книга хороша еще и другим. Автор не скрывает, как его одержимость линиями позволяла приобщать к делу и множество эпизодов повседневности.

Вот он сидит возле трех леди на пароме. Делясь друг с другом эпизодами из жизни, они заняты каждый своим делом: одна пишет письмо перьевой ручкой, вторая вяжет, а третья вышивает. Каждое занятие строится на разной связи линии и поверхности: в первом случае к поверхности страницы добавляется след от пера, во втором — нить превращается в ровную поверхность шарфа, а в третьем — сквозь готовую поверхность продевается вышивальная нить. Поверхности возникают, когда нити превращаются в следы, и исчезают, когда происходит обратный процесс. Не это ли происходит, когда путник пускается в путь по лабиринту? Поверхность земли исчезает. Лабиринт Кносса и лабиринт подземного мира мертвых, который Владимир Богораз зарисовал по рассказам чукчей Северо-Восточной Сибири, объединяет их архетипическая связь с миром мертвых. Если, двигаясь по поверхности земли, Тезей и чукотский шаман ориентировались по следам, оставленным предшественниками, то через средоточие земли их могли провести лишь нити.

Примером же того, как происходит обратное превращение (нитей в следы) и создание поверхностей, является сама этимология слова «линия». Линия, как явствует из словаря Сэмюэля Джонсона, имеет значение «корпии или хлопка» (С. 61). Корпия (lint) восходит к латинскому *linea*, первоначально означавшему нить, сделанную из льна (*linum*). Из таких нитей ткали полотно, которое мы сегодня называем льняным (*linen*). Оно

использовалось в качестве подкладки (line), делая одежду более теплой. Линия на плетеной поверхности возникает на основе накопления зигзагообразных (вперед-назад) движений. Так что линия началась не как след, но как нить, а первым текстом было переплетение нитей, а не совокупность нанесенных на поверхность следов: и text, и textile (текстиль) происходят от texere (сплести). Но как нить ткача стала следом писца? По туманной версии одного китайского мудреца, начало письма — в моменте, когда птичьи следы заменили узлы. Ингольд прослеживает, как долгая традиция *плетения* текстов окончательно прервалась с изобретением Гуттенбергом печатной доски (С. 70), когда готовые буквы, собранные в строчки и страницы, начали отпечатывать на подготовленной поверхности.

Нас окружает все меньше и меньше следов человеческих жестов и все больше сфабрикованных отпечатков. Непрерывность линий уступила место соединению точек на поверхности. Вспомним многочисленные анкеты, заполняемые нами при поступлении на работу или перед поездкой за границу. Помогаящие нам ограничители, часто состоящие из точек, по которым мы «печатаем» буквы, воплощают для Ингольда современную бюрократию: движение линии в них разбито на серию точек, подписаться над которыми — не проложить путь, но оставить отпечаток среди тех вещей, что подлежат присвоению в многочисленных местах оккупации (С. 94). Мы не странствуем, но летим из пункта А в пункт Б, не рассказываем истории, но, зевая, узнаем повсюду вариации одних и тех же сюжетов. Нарисованные от руки наброски маршрутов давно уступили место фабричным картам (а теперь и GPS-навигации). Ингольд, правда, считает, что нарисовать что-то на готовой карте — дело сомнительное, сопоставимое с испещрением текста книги своими пометками, по-моему, пренебрегая тем, как часто мы рисуем именно на готовых картах, приспособляя их индифферентность к своей занятости и помечая, к примеру, путь от гостиницы к университету.

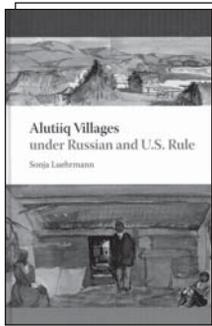
Ингольд выразительно описывает обреченность современных городских обитателей на жизнь в окружении, спланированном и построенном не в целях обитания, но в целях овладения. Опираясь на известное различие стратегий и тактик М. де Серто, он торжественно подчеркивает упорство и изворотливость людей и иных обитателей городов. Они все же умудряются прокладывать и прогрызать свои пути в обход прямых линий, проложенных стратегами. В том, что прежде было неприступно и закрыто, прокладываются проходы, а замкнутые пространства размыкаются. Это выявляет главную характеристику ли-

ний — их незамкнутость. Говорим ли мы о линиях жизни или истории, социальных отношений или мыслительных процессов, главное — чтобы у других был шанс продолжить их там, где мы остановились, и в том направлении, что им подходит. Где бы вы ни были, отсюда можно пойти еще куда-то, — заключает Ингольд, и можно лишь согласиться с теми, кто заявляет, что после прочтения этой книги к своим путям на этом свете они не смогут относиться по-прежнему.

Библиография

- Ingold T.* The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. L., 2000.
- Jones A.* From the Perception of Archaeology to the Anthropology of Perception. An Interview with Tim Ingold // *Journal of Social Archaeology*. 2003. Vol. 3 (1). P. 7.
- Latour B.* We Have Never Been Modern / Trans. C. Porter. Cambridge, Mass., 1993.
- Thrift N.* Non-Representational Theory. Space, Politics, Affect. Oxford, N.Y., 2007.

Елена Трубина



Sonja Luehrmann. *Alutiiq Villages under Russian and U.S. Rule.* Fairbanks: University of Alaska Press, 2008. 204 p.

Рецензируемая книга имеет довольно скромный объем, скромное же (в смысле — конкретное, не претендующее на глобальные обобщения) название, выпущена в издательстве скромного американского университета (сказано, разумеется, не в обиду университету, с которым у рецензента давние и тесные отношения сотрудничества).

Евгений Васильевич Головки
Институт лингвистических исследований РАН,
Санкт-Петербург
evggolovko@yandex.ru

Тем не менее не будет преувеличением сказать, что она занимает особенное место среди многочисленных работ, посвященных так называемой Русской Америке (сочетание, появившееся довольно поздно, о чем, кстати, упоминает и автор в своей книге). Они очень разные: как правило, это основательные труды, написанные специалистами в этой области; есть работы (обычно российских авторов), которые, хоть и выполнены на вполне профессиональном уровне, отличаются тенденциозностью в освещении русской колонизации (сам этот термин авторами, конечно, отвергается) и особенно роли Русской православной церкви; попадаются (впрочем, это единичные случаи) и материалы, подготовленные случайными людьми, выдающими давно известные факты за великие открытия.

Почти все эти работы объединяет одно свойство: их авторы в основном оперируют хорошо известным фактическим материалом; новые исторические данные, разумеется, вводятся в научный обиход, но, так сказать, в щадящем режиме. Рецензируемая книга в этом отношении читателя, к счастью, не щадит. Она буквально набита новыми фактами, ссылками на обнаруженные материалы и архивные документы. Помимо официальной переписки Российско-американской компании автор опирается на богатейшие архивы Русской православной церкви на Аляске. Используются все виды документов, из которых можно извлечь хоть какую-то пользу для исторического и культурно-антропологического исследования: исповедные росписи, клировые ведомости, отчеты и путевые дневники священников, карты местности и т.д.

Столь явный акцент на фактическом материале вовсе не означает полного отказа от использования какой-либо теоретической рамки: автор прекрасно разбирается в существующих теоретических подходах и каждый раз поясняет, из чего исходит, тем или иным образом интерпретируя материал.

У рецензируемой работы, как мне кажется, есть одна черта, необычная для книги, изданной в Америке и написанной автором, изучавшим культурную антропологию в США. В ней совершенно не представлен голос самого коренного населения и соответственно отсутствуют альтернативные интерпретации исторических событий и фактов. С. Люрман почти не работала, как это полагается антропологу, «в поле», поэтому читатель не найдет в книге отрывков из интервью. Такая «модель» монографии с многочисленными цитатами из интервью (особенно если речь идет о том или ином аспекте жизни коренного населения) стала за последние пятнадцать-двадцать лет настолько привычной, что отступление от нее поначалу вызывает почти шок.

Между тем, вчитавшись, понимаешь, что этот довольно необычный на сегодняшний день методический выбор имеет свои преимущества: вместо схематичного представления результатов и предсказуемой логики изложения (во многом по причине ложно понятой политкорректности) мы получили пусть несколько ограниченный, но глубокий анализ богатейшего фактического материала. Этот материал с точки зрения как качества, так и количества заслуживает самостоятельного осмысления. Главное при этом — не забывать, что это всего лишь одна сторона дела, один взгляд на вещи. Исследовательница это прекрасно понимает и подчеркивает, что сознательно строит исследование именно таким образом¹.

Прежде чем перейти к изложению содержания и структуры монографии, необходимо сказать несколько обязательных слов о самых общих вещах — о географических и временных рамках исследования, о событийной канве. Аляска была колонией России с середины XVIII в. до 1867 г., когда она была продана США. После этого больших перемен в ее статусе не случилось: она фактически продолжала оставаться колонией: не имела представительства в правительстве и никак не контролировала коммерческую деятельность, которая велась на ее территории. Положение изменилось в 1912 г., когда Аляска получила статус территории (такой, какой сегодня имеют Пуэрто-Рико, Американское Самоа и др.), однако многое еще долго оставалось по-старому: так, коренное население не имело гражданства до 1924 г. В 1959 г. Аляска наконец стала штатом, но надо признать, что деколонизация, начавшаяся тогда, не завершена по сей день. Многие проблемы пока в лучшем случае находятся в стадии решения. В частности, это касается взаимоотношений белого и коренного населения: речь идет, конечно, о доминировании первого. Это преобладание не только численное, но и политическое, и культурное.

Книга посвящена описанию двух последовательных периодов колонизации — русского и американского. В центре внимания автора не вся Аляска, а только ее часть — южная и центральная (здесь просится удобный английский термин *South-Central Alaska*): это территория от залива Принца Уильяма, Кенайского полуострова и Кадьякского архипелага до Тихоокеанского

¹ Альтернативный взгляд на историю и культуру народа алутиков, отражающий различные подходы, в том числе точку зрения коренного населения, был представлен в ходе реализации проекта *Looking Both Ways — Heritage and Identity of the Alutiiq People*, в котором принимала участие и автор рецензируемой работы. Выставки с таким названием, организованные в рамках указанного проекта Центром арктических исследований Смитсоновского института совместно с Музеем алутиков г. Кадьяк и Советом старейшин, прошли на Аляске, в Нью-Йорке и Вашингтоне. См. также публикацию: [Crowell et al. 2001].

побережья и побережья Бристольского залива. Выбор именно этих мест не случаен: он определяется общим (этническим) составом коренного населения. Конечно, это ощущение общности, представление о границах, проходящих именно таким образом, скорее всего отсутствовало у коренного населения до прихода русских. Конструирование этничности в данном случае — процесс, навязанный «сверху», а «ярлыки» раздавались исходя из представлений европейской науки того времени; отсчет, как правило, велся от общего языка (в том смысле, в каком язык и его диалекты понимаются в европейской науке).

Что еще объединяет сегодня коренное население указанных территорий, кроме языка? Общая история взаимоотношений с русскими и позднее с американцами: в обоих случаях коренное население имело существенно более низкий социальный статус. Важным объединяющим фактором (на сегодняшний день, возможно, самым важным) стала принадлежность к Русской православной церкви. Существует также целый ряд вех в исторической памяти: эпидемия оспы 1837–1838 гг., извержение вулкана недалеко от поселка Катмай в 1912 г., сильное землетрясение и цунами 1964 г. — все эти события перечисляет сама Люрман. Если вычесть из списка природные катаклизмы (землетрясение, извержение вулкана), все остальные объединяющие факторы — прямое следствие колонизации (вероисповедание, эпидемии, а также целый ряд усвоенных от русских культурных практик: кухня, одежда, музыкальный фольклор, имена, фамилии и т.д.).

Выше в качестве важного унифицирующего фактора был упомянут язык. К сожалению, сейчас о нем можно говорить преимущественно в прошедшем времени. Среди эскимосско-алеутских языков Аляски положение языка алютик едва ли не самое безнадежное. Скорее всего, даже самоотверженные усилия энтузиастов возрождения языка, поддержанные различными фондами (я имею в виду проект, направленный на возрождение языка, реализуемый сейчас на о. Кадык; он поддержан Фондом научных исследований США), вряд ли смогут повернуть вспять процесс языкового сдвига. Таким образом, влияние, которое оказали русские, а затем американцы, как всякое колониальное влияние, было губительным для традиционной культуры, ни одна сторона жизни коренного населения не осталась от него свободной.

Показательна в этом отношении история этнонима «алютик». Это слово представляет собой название «алеут» (слово, принесенное в регион русскими, происхождение неизвестно) на местном эскимосском языке (сюхпиак, или тихоокеанский юпик). Сами местные жители вполне сознают, что язык, на котором

говорит коренное население Алеутских островов (тоже алеуты!), совсем не похож на их язык. Однако, как это нередко бывает, научные аргументы не играют в данном случае никакой роли. Попытки возродить язык не привели к возрождению самоназвания. Принесенный русскими термин «алеут», который использовался ими по отношению к разным группам населения (наряду с другим термином «креол» он обозначал скорее социальную, чем этническую категорию), просто был переведен на эскимосский язык. При этом надо заметить, что слово «эскимос» по отношению к коренному населению о. Кадьяк и окрестностей считается унижающим достоинство. Все это, несомненно, наследие колониального прошлого.

Я привел эти широко известные факты только для того, чтобы проиллюстрировать степень воздействия, оказанного вновь прибывшими на коренное население. Потомки коренных жителей, живущие в указанном регионе сегодня, строго говоря, имеют мало общего с теми людьми, которые жили там до прихода русских, причем это относится не только к культуре (хотя к ней в первую очередь). Многочисленные смешанные браки русских промышленников и местных женщин были только первой фазой смешения. Очень значительной была и более поздняя скандинавская волна переселений в регион (переселялись также в основном мужчины), она тоже имела своим следствием смешанные браки. Между тем в отличие от случая со смешанными семьями, которые образовывали русские, эти семьи были расселены дисперсно. В них говорили только по-английски.

После этого небольшого экскурса в историю Аляски вернемся к рецензируемой книге. В ней пять глав. Первая с названием «Masks and Matrioshkas: Memorabilia from Alutiiq Historiography» (С. 1–20) вводит читателя в курс дела и посвящена в основном анализу существующих подходов к описанию истории Русской Америки. Если говорить точнее, автор заостряет внимание на тех отличиях, которые до сих пор существуют (в условно говоря) западной и российской традициях в отображении роли коренного населения в истории Аляски. Эта глава важна для автора книги, поскольку задает ориентиры, которыми автор руководствуется в остальных главах, предлагающих интерпретацию архивных материалов. Но нельзя не отметить важность и полезность первой главы и для читателя, в особенности неискушенного, только начинающего научные занятия в области культурной антропологии или истории. У людей, обучавшихся в разных традициях (см. выше), появляется возможность получить ясно сформулированные объяснения тому чувству недоумения, которое возникает, когда они в качестве читателей

впервые сталкиваются с книгой, написанной в другой традиции.

Вторая глава «Village Locations and Colonial History: Map Essays» (С. 21–62) объединяет всю собранную автором архивную информацию в виде шести карт для разных периодов времени (1805, 1830, 1850, 1895 — две карты, 1930) с нанесенными на них названиями поселков. Трудно переоценить ту скрупулезную работу с архивными источниками, которую провела исследовательница для того, чтобы расположить названия поселков, в большинстве своем давно исчезнувших, в пространстве и времени. Отдельной и непростой задачей стало сопоставление по-разному записанных в различных источниках названий поселков. Карты сопровождаются подробными комментариями, касающимися расположения поселков, времени их возникновения и закрытия.

Сведения исторического характера, а также фактический материал из архивных источников, относящийся к социальной и экономической сторонам жизни этих поселков, составляют основу оставшихся трех глав. Глава 3 «Riddles of Colonial Rule: Fur Hunting for the Russians» (С. 63–96) и глава 4 «From Mainstay to Auxiliary: Alutiq Labor and the Sale of Alaska» (С. 97–112), по выражению самой исследовательницы, «образуют пару». В них последовательно рассматриваются особенности экономического производства в регионе сначала во времена русского, а затем американского контроля. Много внимания уделено анализу изменений в социальном и экономическом положении коренного населения.

Захватывающе интересной показалась мне глава 5 «Paper Villages: Statistical Categories and Social Life» (С. 113–154). Анализируя рутинные статистические материалы, оставшиеся от колониальных чиновников (см. например Appendix на С. 163–175, содержащий данные о составе населения по поселкам за разные годы), автор старается, творчески интерпретируя эти сухие данные, выявить, каким образом власти (сначала российские, потом американские) пытались конструировать новую социальную реальность, какие социальные категории были введены, исходя из каких принципов и какими методами проводилась административная политика в разных областях (образовательной, церковной и т.д.).

Особенно ценным представляется детальный анализ социальной категории «креолы», их места в выстроенной властями новой социальной и экономической структуре, их взаимоотношений с представителями других социальных категорий, в частности с «алеутами», судьбы этой группы после продажи

Аляски США. Нельзя сказать, что до выхода книги об этом ничего не было известно¹, однако в таких подробностях эта важная для понимания истории Русской Америки проблема, кажется, рассматривается впервые.

Очень интересен также один из разделов этой главы с названием «Statistics, Family and Gender» (С. 132–140), посвященный проблемам столкновения разных культур: особенно ярко конфликт в ходе «межкультурной коммуникации» проявляется в сфере семьи и сексуальной жизни (полиандрия, полигиния, смена гендерных ролей).

Очень важным представляется то, что С. Люрман сознательно избегает каких бы то ни было упрощений в интерпретациях. Она не противопоставляет два колониальных периода — русский и американский. Такое противопоставление было бы примитивным и достаточно бессмысленным хотя бы потому, что эти периоды следуют один за другим и, таким образом, оказываются неразрывно связанными, в том числе и логикой происходящих изменений. Осознавая все различия в социальном устройстве двух государств и в политике, которую они проводили на вновь осваиваемых территориях, Люрман ясно видит и формулирует и то общее, что характерно для «колонизации по-русски» и «колонизации по-американски». Прежде всего речь идет о преимущественно континентальном характере экспансии (в отличие от Англии, Франции, Испании). Как известно, это в сущности непринципиальное отличие дало толчок к созданию национальных мифов и построению целых теорий, обосновывающих «закономерность» и «естественность» именно такого расширения обоих государств².

Другой чертой, объединяющей Россию и США, стала склонность к социальным экспериментам. Административные шаги (иногда весьма эксцентричные), которые невозможно было предпринять «дома», с легкостью опробовались в колониях³. Со стороны России это было создание «госкорпорации» с названием «Российско-американская компания», которая фактически бесконтрольно управляла огромной территорией от лица государства, не только занимаясь экономической дея-

¹ См., напр.: [Black 1990; Black 2004: 209–222; Vinkovetsky 2001; Вахтин, Головки 2004: 86–91; Вахтин, Головки, Швайццер 2004: 109–115; Гринев 2000; Гринев 2003; Крупник, Членов 1983: 47; Люрман 2001; Ляпунова 1987: 119].

² См., например, дискуссию по этому поводу в отношении России в «Антропологическом форуме» (2007. № 6. С. 396–436).

³ Кстати, именно «колониями» называлась территория Аляски во всех официальных российских документах, что указывает на ее исключительный, «заморский» статус среди всех территорий, когда-либо принадлежавших России.

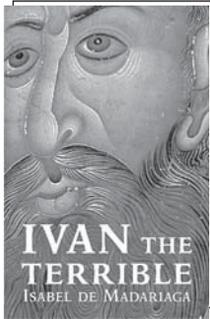
тельностью, но и проводя социальную политику (внедрение системы образования, поддержка церковной деятельности). Яркий пример социального эксперимента — введение упомянутого выше сословия креолов. В период после 1867 г. таким социальным экспериментом можно считать то, что правительство США вопреки конституционному принципу разделения школы и церкви передоверило контроль над образованием протестантским миссионерским организациям.

Радость от появления действительно хорошей книги перевешивает желание говорить о недостатках, хотя последнее и считается обязательным в любой рецензии. Не знаю, можно ли считать недостатком то, что книга выросла из магистерской (!) диссертации. Это заметно по многим признакам. Но на это ведь можно посмотреть и с другой стороны — побольше бы таких магистерских!

Библиография

- Вахтин Н.Б., Головкин Е.В.* «Разве мы виноваты, что так пишемся?»: Смешанные этнические общности северо-востока Сибири в официальных классификациях // *Studia Ethnologica*: тр. факультета этнологии. СПб., 2004. Вып. 2. С. 61–97.
- Вахтин Н.Б., Головкин Е.В., Швайцлер П.* Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания. М., 2004.
- Гринев А.В.* Туземцы Аляски, русские промышленники и Российско-американская компания: система экономических отношений // *Этнографическое обозрение*. 2000. № 5. С. 74–88.
- Гринев А.В.* Характер взаимоотношений русских колонизаторов и аборигенов Аляски // *Вопросы истории*. 2003. № 8. С. 96–111.
- Крупник И.И., Членов М.А.* Алеуты Командорских островов: проблемы этнографического изучения // *Полевые исследования Института этнографии* 1983. М., 1987. С. 45–55.
- Люрман С.* От алеутов и креолов к черным и белым: Южная Аляска между двумя империями // *Ab Imperio*. 2001. № 3. С. 169–190.
- Ляпунова Р.Г.* Алеуты. Очерки этнической истории. Л., 1987.
- Black L.T.* Creoles in Russian America // *Pacifica: A Journal of Pacific and Russian Studies*. 1990. Vol. 2. No. 2 (Russian America: The Forgotten Frontier). P. 142–155.
- Black L.T.* Russians in Alaska, 1732–1867. Fairbanks, 2004.
- Crowell A.I., Steffian A.F., Pullar G.* (eds.) Looking Both Ways: Heritage and Identity of the Alutiiq People. Fairbanks, 2001.
- Vinkovetsky I.* Circumnavigation, Empire, Modernity, Race: The Impact of Round-the-World Voyages on Russian Imperial Consciousness // *Ab Imperio*. 2001. No. 1–2. P. 191–210.

Евгений Головкин



Isabel de Madariaga. *Ivan the Terrible: First Tsar of Russia.*
New Haven and London: Yale University Press, 2005.
XXII + 484 p.

Имя Исабель де Мадариага, заслуженного профессора (Emeritus Professor) славянских исследований Лондонского университета, хорошо известно историкам России. Ее перу принадлежит, в частности, капитальный труд о царствовании Екатерины II (1981, рус. пер. — 2002) [Мадариага 2002], получивший высокую оценку специалистов.

Новая книга британского историка, вышедшая в 2005 г. в издательстве Йельского университета, представляет собой подробную биографию Ивана Грозного. Книга вызвала немалый интерес как у широкой публики, так и у профессиональных историков: уже опубликовано несколько рецензий на эту работу¹, а московское издательство «Омега» оперативно подготовило и выпустило в свет русский перевод бестселлера де Мадариага [Мадариага 2007]. Поэтому вряд ли есть смысл сейчас пересказывать главы этой книги. Полезнее, на мой взгляд, поразмышлять над тем, в чем, помимо несомненных литературных достоинств, отличающих авторский стиль де Мадариага, коренятся причины успеха рецензируемого труда.

Начать, вероятно, нужно с того, что уже сам выбор героя для биографии был беспроигрышным ходом со стороны автора книги и ее издателей: знаменитые тираны, к которым, несомненно, следует отнести и Ивана

Михаил Маркович Кром
Европейский университет
в Санкт-Петербурге
krom@eu.spb.ru

¹ См.: [Martin 2006; Pounsy 2006, специально о книге де Мадариага: 324, 326–328; Ананьев 2007].

IV, обладают каким-то мрачным обаянием: они и ужасают, и притягивают внимание читателей. Только таким повышенным спросом можно объяснить тот факт, что за последние десять лет увидели свет пять новых биографий грозного царя (не считая переизданий известного труда Р.Г. Скрынникова). В России вышли книги Б.Н. Флори, Д.М. Володихина и В.В. Шапошника, а в Великобритании появлению монографии де Мадариага предшествовала публикация совместной работы А.П. Павлова и М. Перри [Флоря 1999; Володихин 2006; Шапошник 2006; Pavlov, Perrie 2003].

Впрочем, те, кто надеются найти в книге И. де Мадариага неизвестные ранее подробности жизни Ивана Грозного или ключ к пониманию его личности, будут разочарованы. Большая часть этого объемного труда посвящена описанию бурных событий истории России XVI в., и только в заключительных главах делается попытка оценить роль царя в судьбах страны, которой он правил более полувека. Сделать это непросто, поскольку, как признает в предисловии к своей книге сам автор, до нас не дошли записи распоряжений, сделанных царем, или оригиналы его писем. Нет в нашем распоряжении и протоколов заседаний Боярской думы или какого-либо другого правительственного органа. Правда, само участие царя в совещаниях разного рода зафиксировано многократно, но подобные записи носят формальный характер: официальные документы, как справедливо подчеркивает И. де Мадариага, «обычно совершенно безличны по сравнению с оживленной перепиской между королями и их советниками в других странах» (С. XIV)¹.

Так возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, все решения выносились от имени государя, а с другой — нам в большинстве случаев неизвестно, какое участие в выработке тех или иных мер принимал сам монарх (де Мадариага отмечает это обстоятельство применительно к политике 1550-х гг.: С. 64, 75). Отсюда бесконечные попытки историков определить, под чьим влиянием находился царь в тот или иной период. Автор рецензируемого труда высказывает обоснованные сомнения по поводу распространенных в историографии представлений о доминирующей роли священника Сильвестра и

¹ И. де Мадариага склонна объяснять скудость дошедших до нас материалов о жизни и деятельности Ивана IV последствиями многочисленных пожаров (С. XIV). Думается, этого объяснения недостаточно: наряду с губительным действием огня (от которого, кстати, архивы других европейских стран страдали не меньше, чем российские), нужно принять во внимание и различия в практике делопроизводства. Едва ли, например, что-то похожее на «протоколы» заседаний Боярской думы когда-либо существовало в действительности. Записи подлежало только итоговое решение (и оно обычно нам известно из скупых сообщений официальной летописи), но сам ход обсуждения не фиксировался на бумаге.

ближнего дворянина Алексея Адашева в правительстве 50-х гг. XVI в. (С. 73, 140). Но она же чуть ниже высказывает не менее спорное предположение о том, что царь учредил опричнину по совету своей второй жены — Марии Темрюковны (С. 186–187). Подобные гипотезы высказывались уже не раз, но за недостатком данных доказать их невозможно.

Таким образом, источниковедческие проблемы имеют ключевое значение при изучении далекого XVI столетия. Де Мадариага признает наличие этих трудностей, но не предлагает никаких путей их решения. Она с доверием относится и к припискам на полях Лицевого свода XVI в., и к тенденциозному памфлету «История о великом князе Московском», принадлежащему, как принято считать, перу князя Андрея Курбского. Охотно цитирует британский историк и переписку Ивана Грозного с А. Курбским, отвергая гипотезу американского профессора Эдварда Кинана о ее подложности (С. XVI).

Сегодня большинство исследователей не принимают аргументов Э. Кинана¹, но поднятая им проблема остается актуальной, так как тексты писем Грозного и Курбского дошли до нас не в прижизненных рукописях, а в более поздних списках (самый ранний из них датируется концом XVI — началом XVII в., а все остальные — временем от 20-х гг. до последней четверти XVII в.). Это означает, что между сегодняшним читателем этих писем и их авторами (соответственно царем и боярином, бежавшим от его гнева в Литву) стоит целый ряд переписчиков, вносивших изменения и исправления в первоначальный текст. Перед нами, таким образом, характерная для средневековых памятников литературная традиция, которая заметно отличается от творчества писателей Нового времени. Вряд ли возможно без всяких оговорок, как это делает де Мадариага, видеть в упомянутых письмах прямой путь к сознанию царя, «единственный способ понять его личность» (С. XVI).

Автор рецензируемой книги не только некритически использует свидетельства источников, но и нередко заимствует сведения из вторых рук — из работ своих предшественников, начиная от Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева и заканчивая современными исследователями: А.А. Зиминым, Р.Г. Скрынниковым, Б.Н. Флорей, С.Н. Богатыревым, А.И. Филюшкиным и др. Таким образом, фактическая основа монографии де Мадариага явно компилятивна. При таком характере работы

¹ Аргументы, выдвинутые Э. Кинаном, повторяет Каролин Паунси, которая по-прежнему считает их убедительными: [Роупсу 2006: 313–315]. Возражения оппонентов Кинана кратко подытожены в недавно вышедшей книге А.И. Филюшкина, см.: [Филюшкин 2007: 164–166]. (Здесь же представлена подробная библиография проблемы.)

не вызывает удивления обилие неточностей в именах и датах (их подробный перечень привел в своей рецензии В. Ананьев [Ананьев 2007: 464–465]). Так, под пером британского историка митрополит Иоасаф, занимавший кафедру с 1539 по начало 1542 г., почему-то превратился в «Иосифа» (С. 42, 82). Датой смерти Василия III, отца Ивана Грозного, ошибочно названо 4 февраля 1533 г. (С. 39); на самом деле великий князь Василий Иванович умер в ночь с третьего на четвертое декабря 1533 г. Неверно указаны инициалы окольничего И.В. Ляцкого («С.И.» вместо «И.В.»: С. 391, прим. 22). По непонятной причине автор называет первым походом Ивана IV против Казани кампанию 1549 г. (С. 101), хотя эта война с ханством началась еще в 1545 г., а зимой 1547–1548 гг. царь лично возглавил очередную экспедицию, тогда закончившуюся неудачей.

Представляется, что подобные ошибки (полный список которых занял бы не одну страницу) попали в текст не столько по недосмотру, сколько из-за недостаточного знания автором реалий России XVI в. Поскольку де Мадариага при написании своего синтетического труда не могла опереться на собственные исследования той эпохи (напомню, что основной областью ее научных штудий был XVIII в.), она оказалась в зависимости от предшествующей литературы, из которой черпала и факты, и их интерпретации. Ею был привлечен широкий круг специальных работ, посвященных России XVI в., но некоторые новые исследования не попали в ее поле зрения, что сказалось на содержащихся в книге оценках. В одних случаях автор учитывает историографические тенденции последних лет (например, вслед за И.И. Смирновым, А. Гробовским и А.И. Филюшкиным де Мадариага отрицает существование в 1550-х гг. особого правительства во главе с Сильвестром и А. Адашевым — так называемой Избранной рады: С. 72–74, 140). Но иногда она повторяет устоявшиеся в науке мнения, не зная, по-видимому, о начавшемся их пересмотре. Так, в рассказе о придворной борьбе в 30-е гг. XVI в. (С. 39–41) де Мадариага целиком следует за Н.М. Карамзиным и Р.Г. Скрынниковым, не принимая во внимание исследования А.Л. Юрганова и автора этих строк, посвященные событиям того времени [Юрганов 1988; Кром 1996].

В другом месте книги повторяется расхожее мнение (восходящее к запискам англичанина К. Адамса), будто церковь в России середины XVI в. владела одной третью всех пахотных земель (С. 82). Между тем еще в 1988 г. А.И. Плигузов привел веские аргументы в пользу несостоятельности этой оценки¹.

¹ Эта статья переиздана в кн.: [Плигузов 2002: 320–329].

Серьезных возражений заслуживает и часто повторяемый со времен С.М. Соловьева тезис о том, что, начиная Ливонскую войну, Иван IV руководствовался якобы интересами русской торговли на Балтике. Версия об «экономических» причинах войны была убедительно оспорена в последние десятилетия в работах Н. Ангерманна, А.Л. Хорошкевич, А.И. Филюшкина и других ученых, но нашла место в книге И. де Мадариага (С. 123–124), которой, вероятно, эти исследования остались неизвестны.

Таким образом, как источник фактических сведений об изучаемой эпохе рецензируемый труд оставляет желать много лучшего. Каролин Паунси полагает даже, что книгу Исабель де Мадариага вряд ли стоит рекомендовать для чтения студентам или широкой публике, так как она «поддерживает столько же мифов, сколько и разоблачает» [Pounsey 2006: 326].

И все же, несмотря на отмеченные выше серьезные недостатки, работа британского историка обладает важным достоинством, которое способно примирить взыскательного критика с многочисленными фактическими неточностями и сомнительными интерпретациями, имеющимися в книге. Я имею в виду сравнительно-исторический подход, который нашел широкое применение в монографии Исабель де Мадариага. Автор помещает Московию эпохи Ивана Грозного в контекст истории других европейских стран (в первую очередь Англии), и это позволяет по-новому взглянуть на ряд проблем и явлений русской истории.

Обосновывая применение сравнительного подхода, де Мадариага пишет во введении к своей книге, что, по ее мнению, «многие проблемы, стоявшие перед Россией, были той же природы, как и те, с которыми приходилось сталкиваться Франции, Германии и (в меньшей степени) Англии, хотя не обязательно в то же самое время, что и России» (С. XVII).

При каждом удобном случае автор подчеркивает черты сходства между обычаями, существовавшими при московском дворе, и теми, что были приняты в других европейских странах. Так, отмечая, что во время посольских приемов бояре были облачены в парадную одежду, которая часто выдавалась им из великокняжеской казны, де Мадариага не забывает упомянуть о том, что и Генрих VIII одалживал костюмы своим придворным (С. 32). Далее, сообщив о том, что гости за царским столом ели мясо руками, она добавляет: «как и повсюду в Европе в то время» (С. 57). Историк усматривает сходство между советами, содержащимися в Домострое, и рекомендациями в аналогичных книгах о хороших манерах

и о правильном ведении хозяйства в других странах Европы (С. 70).

От застольных обычаев, одежды и домоводства автор переходит к политическому строю, и здесь также обнаруживаются исторические параллели. Так, эволюция бюрократии в России, по мнению де Мадариага, не слишком отличалась от того, что происходило во Франции (С. 66). И власть московского государя, как ее декларировал Иван IV в своих посланиях иностранным монархам, по *природе* своей ничем не отличалась от той, которой в принципе обладали Франциск I Французский или Генрих VIII Английский; различия заключались в мере реализации этой власти: упомянутые короли, вероятно, больше считались с институциональными ограничениями (С. 169).

Как видим, автор вовсе не разделяет мысли (все еще популярной среди отечественных и зарубежных ученых), будто исторический путь России уже со Средневековья коренным образом отличался от латинского Запада. Де Мадариага, напротив, подчеркивает общность христианской культуры и политических концепций на востоке и западе Европы (С. XVIII), а неизбежные отличия, как можно понять из некоторых объяснений историка, носили стадийный характер.

Здесь мы подходим к важному вопросу о том, какой из двух типов исторического сравнения — диахронный или синхронный — является более плодотворным. Ссылаясь на работу российского исследователя С.М. Каштанова, де Мадариага пишет о том, что Россия развивалась тем же путем, что и остальная Европа, но отдельно от нее и с временным лагом в несколько столетий (С. 205). В соответствии с этим тезисом британский историк объясняет, например, различие судеб круговой поруки в России и Западной Европе: этот институт был известен всем европейским средневековым обществам, восходя, возможно, к обычаям викингов. Коллективная ответственность была характерна для неразвитой государственной организации, когда власть, не располагая достаточными административными рычагами, перекладывала различные обязательства и ответственность за их выполнение на подчиненные ей социальные группы. По мере усиления государства коллективная ответственность сменялась индивидуальной. В Англии еще король Генрих VII активно использовал поруку как инструмент контроля над родовой знатью, но в царствование его сына Генриха VIII она была отменена. В России же круговая порука не только в эпоху Ивана Грозного, но и в течение последующих нескольких столетий оставалась необходимым элементом административной системы (С. 65, 171–173 и прим. 18 на С. 397).

Тот же диахронный тип сравнения можно заметить и в утверждении де Мадариага о том, что русское поместное ополчение XVI в. практически мало чем отличалось от поземельного ополчения, созывавшегося бароном или самим королем в *ранне-средневековой* Англии (С. 91).

Руководствуясь стадильным сравнительно-историческим подходом, британская исследовательница отрицает сословно-представительный характер московских соборов XVI в., за которыми в науке с легкой руки славянофилов середины XIX в. закрепилось название «земских соборов». По мнению де Мадариага, сословия в России к тому времени еще не сложились, выборов не было, а сами соборы созывались *ad hoc*: они еще не стали постоянным учреждением парламентского типа (С. 77, 197–199, 371–372). Тем не менее вектор развития был тем же самым, что и в Западной Европе, где в эпоху позднего Средневековья происходил постепенный переход от королевского совета (*curia Regis*) расширенного состава к некоему подобию национальной ассамблеи. Московские соборы XVI в., как считает де Мадариага, представляли собой институт в стадии формирования (*an institution in the making*). По верному наблюдению британской исследовательницы, соборы отражали новую концепцию двух политических сил — Короны и страны («земли»): к государевым делам теперь добавились дела земские (С. 78, 204)¹¹.

Впрочем, иногда де Мадариага отходит от диахронного сравнения и проводит прямые параллели между отдельными явлениями или событиями в России и Западной Европе XVI в. Но подобный синхронный анализ эвристического эффекта не дает. Так, развод Василия III с первой женой, Соломонией Сабуровой, напомнил историку аналогичное событие в жизни Генриха VIII: в обоих случаях якобы были затронуты интересы религии и собственности (С. 29). Однако упомянутые события просто несопоставимы по своим последствиям: развод Василия III с Соломонией повлек за собой лишь перемены в придворной среде, в то время как расторжение брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской стало прологом к английской Реформации.

Неубедительной кажется мне и попытка объяснить наступление России на Казань влиянием религиозной поляризации в Европе, вызванной Реформацией, новым антиисламским пылом и растущей османской угрозой (С. 94). Каких-либо фак-

¹¹ О понятии «государевых и земских дел» и формировании сферы политики в Московии см. также: [Кром 2005].

тов, подкрепляющих эту смелую гипотезу, исследовательница не приводит.

В целом же именно сравнительно-исторические наблюдения составляют, на мой взгляд, наиболее сильную сторону рецензируемого труда. Книга Исабель де Мадариага может послужить примером плодотворного применения компаративного подхода к изучению русского Средневековья.

Библиография

- Ананьев В.* [Рец.] // *Ab Imperio*. 2007. № 3. С. 456–465.
- Володихин Д.М.* Иван Грозный: Бич Божий. М., 2006.
- Кром М.М.* К пониманию московской «политики» XVI в.: дискурс и практика российской позднесредневековой монархии // *Одиссей. Человек в истории*. 2005. М., 2005. С. 283–303.
- Кром М.М.* Судьба регентского совета при малолетнем Иване IV. Новые данные о внутривластной борьбе конца 1533–1534 года // *Отечественная история*. 1996. № 5. С. 34–49.
- Мадариага И. де.* Иван Грозный. Первый русский царь / пер. с англ. М. Юсима. М., 2007.
- Мадариага И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
- Плигузов А.И.* Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002.
- Филлюшкин А.И.* Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007.
- Флоря Б.Н.* Иван Грозный. М., 1999.
- Шапошник В.В.* Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006.
- Юрганов А.Л.* Политическая борьба в 30-е годы XVI века // *История СССР*. 1988. № 2. С. 101–112.
- Martin J.* [Review] // *The Russian Review*. 2006. Vol. 65. No. 2. P. 321–322.
- Pavlov A., Perrie M.* Ivan the Terrible. L., 2003.
- Pounsey C.J.* Missed Opportunities and the Search for Ivan the Terrible // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. Vol. 7. No. 2. P. 309–328.

Михаил Кром



Оче-видная история. *Проблемы визуальной истории России XX столетия: сборник статей / [редкол.: И.В. Нарский и др.]*
Челябинск: Каменный пояс, 2008. 476 с.: ил., табл.

Сборник «Оче-видная история», хорошо изданный толстый том с мультимедийным приложением на CD, вышел на фоне скудости отечественной литературы по визуальным исследованиям и полного отсутствия на русском языке книг, посвященных анализу визуальных источников историками¹. Если в российских гендерных исследованиях «визуальный пробел» заполняется томиком «Женщина и визуальные знаки» [2000], а в социологии и антропологии — целым рядом изданий разного уровня², то теперь и историкам, наконец, повезло, причем так, что представители смежных дисциплин могут им позавидовать.

Включенные в сборник «Оче-видная история» статьи написаны учеными из России, Германии, Франции, США, Швейцарии. Книга открывается коротким и весьма содержательным предисловием, а также методологической статьей А.Б. Соколова «Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной западной историографии», где описаны причины визуального поворота и возможности, которые он открывает перед историками. Статья может быть полезной и исследователям, которые занимаются анализом изображений, и студентам, которые знакомятся с новой областью знаний, что является большим достоинством, осо-

Ольга Юрьевна Бойцова
Музей антропологии
и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург
boitsova@gmail.com

¹ За исключением кино (см.: [История страны 2004]).

² См., например: [Визуальная антропология 2007; ИНТЕР 2007; Штомпка 2007].

бенно в условиях дефицита как методологической, так и учебной литературы по визуальным исследованиям на русском языке.

В области истории повседневности, тела, одежды использование визуальных источников считается оправданным, а политическая и социальная история пока еще традиционно избегают изобразительного материала. Авторы рецензируемого сборника представили статьи как раз по политической и социальной истории и, конечно, по истории идеологии, что может заставить их коллег по цеху по-новому взглянуть на свой предмет. Соответственно аудитория книги включает и историка, интересующегося отечественной историей XX в. или равнодушного к введению новых источников и новой методологии в историческое исследование, и специалиста по визуальной культуре, которому любопытно узнать, что в этой области сделали историки.

Я отношусь ко вторым, поэтому логичное для историков разделение статей сборника по тематике на пять частей («Визуальный поворот: проблемы методологии, историографии и источниковедения», «Политическая инструментализация визуальных образов», «Столкновение культур: специфика визуальной репрезентации», «Образы власти в визуальном конструировании пространства», «Образы повседневности и культура потребления»), внутри которых статьи расположены хронологически по периодам истории, в своей рецензии заменяю группировкой статей по типам визуальных источников: так стал бы читать книгу человек, которого интересуют, к примеру, только карикатуры.

Карикатуры в сборнике представлены статьей В.И. Журавлевой «Визуализация образа России в США в период первого кризиса в двусторонних отношениях», А.В. Голубева «Визуальные образы войны в советской карикатуре межвоенного периода» и В.А. Токарева «Польша под прицелом “часовых, вооруженных карандашом” (1939)», которые в книге логично следуют друг за другом и друг друга дополняют. Из этих работ читатель может не только узнать о том, как американские или советские карикатуристы представляли другую страну, но и почерпнуть полезные библиографические сведения.

Плакатам посвящена статья К.Л. Лидина и М.Г. Мееровича «“Визуальный кадр” как метод анализа элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских плакатов 1920–1950-х гг.)», где авторы представили результаты подсчетов с целью «выявления эмоционального содержания визуального образа» (С. 26–27). Статья вызывает целый ряд

вопросов, на которые авторы, к сожалению, не дают ответ. О чьих эмоциях в исследовании идет речь — героев плаката или его зрителей, а если первое, то не нужно ли отделять образ «своего» от образа врага при обсчете эмоций? Кто кодировал эмоции на плакатах для компьютерной обработки и каковы были основания для кодирования? Какова в процентах вероятность, что результаты подсчетов незначимы или выборка слишком мала? (Нулевая гипотеза не проговаривается, как, впрочем, и все остальные гипотезы, поэтому остается неясным, что именно проверяли подсчеты.) Каким образом плакат «Будь героем» демонстрирует «мотивы катастрофичности войны для агрессора» (С. 28)? Какую эмоцию выражает приводимый на ил. 9 плакат, изображающий майонез? Обширная подборка плакатов 1920-х, 1930-х и 1950-х гг. на приложенном к книге диске только умножает вопросы. Так, мне не удалось увидеть на приводимых рекламных плакатах 1930-х гг. «совесть» (24,32%), «страх», «гнев», «презрение» и даже «удивление», которое должно составлять «центр кластера». Быть может, потому что авторы не предоставили читателю свой инструмент специального видения?

Фотографиям посвящены статья О.С. Нагорной «Позитив и негатив: визуализация образов российских военнопленных Первой мировой в русской и немецкой пропаганде (1914–1917 гг.)», в которой ставятся важные вопросы об использовании фотографических образов в пропаганде, очень взвешенная и интересная работа Ю.Ю. Хмелевской «Смертельный репортаж: будни и трагедии русского голода 1920-х гг. в свидетельствах американских очевидцев» и статья Н.В. Суржиковой «“Багателизация” несвободы: визуальные репрезентации лагеря № 504 МВД СССР», где на материале официального лагерного фотоальбома показана репрезентация плена как пространства счастья и свободы для военнопленных.

Три статьи «Очевидной истории» сфокусированы на анализе одного фотодокумента. Р. Сарторти в работе «Образы войны в визуальной памяти: на примере Зои Космодемьянской» разбирает фотографию, опубликованную в «Правде» в 1942 г. Исследовательница предлагает несколько, а не одну интерпретацию фотоснимка. Можно спорить с фрейдистской трактовкой образа Зои, но сама проблема того, как изображение стало одной из фотографических «икон» и вошло в набор советских визуальных стереотипов, представляется актуальной для изучения советской визуальной культуры.

В статье И.В. Нарского «Проблемы и возможности исторической интерпретации семейной фотографии (на примере детской фотографии 1966 г. из г. Горького)», которая представляет

собой выдержку из монографического исследования [Нарский 2008], приводится анализ одного студийного портрета, изображающего самого автора. И.В. Нарский по очереди применяет к фотоснимку различные методики анализа изображений; по мнению автора, все они оказываются более или менее несостоятельными без учета контекста.

М. Рютерс в своей работе «Детство, космос и потребление в мире советских изображений 1960-х гг.: к вопросу о воспитании оптимизма в отношении будущего» рассматривает одну фотографию Дома игрушки (1962 г.). Здесь также предлагаются различные интерпретационные рамки: «разумное потребление», соперничество с Западом, космос, «тоталитарное детство», традиционный гендерный порядок. К сожалению, стиль изложения иногда затрудняет понимание авторской логики, как, например, в следующем отрывке: «Главный зал детского магазина был украшен, как об этом свидетельствует фотография 1959 г., макетами орбитальной системы и ракеты. Эти образы указывают на возраставшее эмоциональное значение предметов потребления в советском обществе» (С. 461–462). Не хватает лишь контекста, о котором пишет И.В. Нарский: неизвестно, для кого предназначалась разбираемая фотография и по чьему заказу она была сделана, была ли она опубликована и где или ее отверг редактор или цензор (и если да, то почему).

В отличие от Р. Сарторти, М. Рютерс анализирует не фотографию, а сфотографированное, т.е. стоящую за фотографией реальность — организованную фотографом сцену, панно на стене, одежду изображенных женщин. Фотоснимок предстает зеркалом, в котором отразилось советское общество 1960-х гг. Между тем ту же роль для автора, хорошо знакомого с советской историей и весьма подкованного в теории, могла бы сыграть любая другая фотография, на которой присутствовали бы в той или иной форме космонавт, детство, женщины, магазин и т.п.: в «зеркале» отразилось то, что автор знал и раньше. Дело, вероятно, еще и в том, что фотографии, разбираемые И.В. Нарским и М. Рютерс, сами по себе не представляют загадку (в отличие, например, от снимка Зои Космодемьянской, который стал «иконной», что не может не интриговать); проблемность им придает исследователь с большим или меньшим успехом.

Любительская фотография рассматривается и в статье А.М. Сологубова «Фотография и личное переживание истории», которая, как и работа И.В. Нарского, строится вокруг личного опыта автора и даже имеет подзаголовок «автофотографический эссе». Ее можно рекомендовать всем, кто хочет в воспоминаниях вернуться в 1980–2000-е гг. и воскресить советский и постсовет-

ский опыт фотографа-любителя и профессионала, а ее жанр — истории, которые рассказывают при показе фотоснимков. Остается пожалеть, что в «Очевидной истории» любительская фотография оказалась целиком вытеснена в область автобиографии и историй, которые сами представляют интересный материал для историка, но не выполненное исследование.

Справедливый вывод И.В. Нарского о необходимости привлечения контекста для исследования изображений, может быть, стоило подкрепить анализом не собственной фотографии. Вдруг кто-то из начинающих исследователей подумает, что имеет смысл подвергать визуальному анализу только собственные эго-документы, контекст появления и функционирования которых восстановить легче всего?

Художественному кино посвящены работа Ю.Г. Лидерман по социологии зрительского восприятия (««Остров» Павла Лунгина в контексте советской культуры: анализ зрительского успеха экранной коммуникации») и статья Н.В. Черновой «Кинематографические приключения теории “двух вождей” (на примере историко-революционного фильма)», в которой показан вектор развития кинематографических образов Ленина и Сталина в течение 1930-х гг. *Документальное кино* анализирует В. Познер в интересной работе «Советская кинохроника Второй мировой войны: новые источники, новые подходы», где представлен и язык советской документалистики, и контекст ее возникновения: условия работы операторов, особенности цензуры и зрительской рецепции.

Статья М. Рольфа «Император в Варшаве: визуализации империи на исходе XIX столетия» представляет собой анализ *церемоний и инсценировок*, сопровождавших пребывание Николая II в Варшаве в 1897 г. Выбор такого нетипичного для историка объекта, как ритуал, дал любопытные результаты. Вывод о том, что «в эпоху, когда не было ни правительственных заявлений, ни программных концепций национальной политики, репрезентации были не только отражением политики — они сами являлись политическими акциями» (С. 334), подкреплен авторской аргументацией.

Неожиданный источник анализировал и А.Ю. Ватлин — *рисунки* членов Политбюро. Его статья «Рисунки для своих: зрительные образы как аргумент в работе Политбюро начала 1930-х гг.» представляет читателю целую серию этих интереснейших материалов, снабженных убедительными интерпретациями автора.

Анализу *городской планировки и облика советского города* посвящены три статьи «Очевидной истории», которые можно по-

рекомендовать всем, кто исследует городское пространство. В работах М.Г. Мееровича «Соцгород как визуализация структуры власти: принципы проектирования среды сталинских городов» и Е.В. Конышевой «Советская система в зеркале градостроительства: архитектурный образ Челябинска 1930–1950-х гг.» показано, как идеология, оказывая влияние на предпочтение тех или иных планов застройки, воплощалась в архитектуре. Статья А.В. Антощенко и В.В. Волоховой «Монументальный образ “провинциальной” столицы (прогулка по центру Петрозаводска)» демонстрирует, как досоветская, советская и постсоветская история отразилась в городских памятниках, значения которых со временем подверглись переосмыслению. Немного жаль, что в статье анализ дискурса о монументах берет верх над анализом визуальных образов: при наличии весьма полезных для читателя иллюстраций авторы статьи не обсуждают, что именно на них изображено. Вопросы стиля, размера, материалов памятников, а также сравнение советских и постсоветских памятников (не дискурсов!) остаются за рамками исследования.

Лубок представлен статьей С. Норриса «“Картинки на стене”: крестьянское коллекционирование, народные лубки и употребление понятия национальной идентичности в России XIX в.». С. Норрис — автор монографии о лубке и других произведениях русской массовой печати. Лаконичность его работы в рецензируемом сборнике, которая иной раз препятствует пониманию авторской мысли, очевидно, происходит из-за того, что в статье положения книги излагаются весьма сжато.

Журнальные иллюстрации стали источником для работы И.О. Ермаченко «Образы Русско-японской войны в иллюстрациях отечественной прессы 1904–1905 гг.: специфика визуализации», где автор сопоставляет публиковавшиеся в периодической печати изображения и тексты о Русско-японской войне.

Живописи посвящены две статьи сборника. Г.А. Янковская в работе «“Обаяние” банальности. Советская повседневность в изобразительном искусстве 1940–1950-х гг.» размышляет о том, почему в послевоенные годы в соцреалистической живописи произошел переход к жанровым сценам и показу быта. Она задается вопросами, «помогают ли визуальные свидетельства выявить без них невидимые черты социальной жизни? Или они могут служить лишь иллюстрацией к гипотезам, сформулированным на базе вербальных документов?», ответ на которые дает вторая «живописная» статья сборника, переведенная специально для «Очевидной истории» глава Я. Плампера «Пространственная поэтика культа личности: “круги” вокруг Сталина» из книги «Пейзаж сталинизма» (2003).

Если многие авторы-историки используют визуальные источники для подкрепления анализа источников текстуальных (в их работах благодаря интерпретации визуальной информации понимание истории уточняется и дополняется, но не меняется), то для Я. Плампера, как и для Г.А. Янковской, живопись второй трети XX в. является самостоятельным объектом, исследование которого позволяет узнать что-то новое о социальной реальности. Подобный подход представляется очень перспективным и для визуальных исследований ключевым, хотя не со всеми интерпретациями автора можно согласиться. Так, признавая отмеченную Я. Плампером «неподвижность» Сталина на портретах и направление его взгляда «в будущее», мы должны отметить, что «круговая аранжировка» даже с учетом обязательного размещения Сталина в центре полотна «вчитана» в некоторые из разбираемых картин («Сталин и Ворошилов», «Утро нашей Родины»), где в композиции нет ни кругов, ни даже замкнутых линий. Добавлю, что проведенное автором сравнение с американской пейзажной живописью XIX в. оказывается неожиданно продуктивным.

Почти все статьи сборника посвящены какому-то одному типу визуальных источников, кроме работ И. де Кегель и Е.В. Волкова. Немецкая исследовательница в статье «Симуляция изобилия? Визуализация советской культуры потребления в 1960-х гг.» на материале журнала «Огонек» за 1959–1960 гг. ставит вопрос о том, как при наличии определенных проблем в сфере потребления (дефицит, очереди) советская культура потребления визуализировалась в фотографиях, рисунках и карикатурах. Е.В. Волков в статье «Лицо врага: образы Белого движения в советском изобразительном искусстве (1918–1939 гг.)» рассматривает и плакаты, и карикатуры, и живопись, на которых присутствуют образы белогвардейцев. Его статья уступает статье И. де Кегель из-за некоторых методологических недостатков: принцип отбора плакатов для разбора остается непрозрачным для читателя, а в «живописной» части работы авторский анализ полотен заменен цитированием советских искусствоведов, тогда как можно было бы использовать не традиционный искусствоведческий подход, а один из методов современных визуальных исследований.

Рецензируемый сборник дает читателю возможность увидеть различия подходов историков к визуальным исследованиям в России и на Западе. В статьях некоторых российских авторов (И.О. Ермаченко, Н.В. Суржиковой) историческая часть «перевешивает» визуальную, что заметно по библиографии. При наличии ссылок на собственно историческую научную литературу авторы ничего не пишут о своем методе работы с визуальными

образами и не ссылаются ни на методологические исследования (подразумевается, что изображение легко проанализировать — «и так все видно?»), ни на труды ученых, работающих со сходным материалом. Н.В. Чернова в своем интересном анализе кинематографических образов Ленина и Сталина использует архивные материалы, но не привлекает работы по анализу фильмов, например книгу О. Булгаковой, в которой есть раздел «Ленин и Сталин» [Булгакова 2005: 235–242]. Работа К.Л. Лидина и М.Г. Мееровича вызывает массу вопросов именно из-за подобного недостатка. Такие статьи могут произвести на неискушенного читателя впечатление открытия, тогда как на самом деле в них открыт велосипед; краткую библиографию по анализу визуальных источников историками можно посмотреть, например, в статье А.Б. Соколова в рецензируемом сборнике (С. 24). При отсутствии в работе методологической части зритель может не увидеть (вслед за Е.В. Волковым) Лернейскую гидру на плакате Д.С. Моора¹ или волкодлака на карикатуре Кукрыниксов на Колчака, поскольку автор не предоставил ему свой инструментарий, с помощью которого одни образы с такой легкостью превращаются в другие. Впрочем, описанный недостаток характеризует многие современные отечественные работы по визуальному анализу, и отнюдь не только в «Очевидной истории».

Западные исследователи четко определяют свою методологию (к примеру, И. де Кегель: «Данный проект базируется на принципах иконографического анализа серии изобразительных произведений», С. 449, прим. 9). Они всегда ссылаются на работы предшественников и коллег в области визуальных исследований. Западные историки также смелее российских используют различные теории в качестве рамок для интерпретации, например Я. Плампер — идею концентрических кругов К. Кларк или М. Рютерс — понятие «скриптов». Вопрос о том, что предпочтительнее в исследовании: «теоретическая осторожность» российских историков или «теоретическая смелость» западных — нужно, видимо, решать в каждом случае отдельно.

На прилагаемом к сборнику CD представлены иллюстрации к статьям и раздел «Монументальные шутки», из которого исследователям «городского текста» и фольклористам будет особенно интересна презентация А.М. Сологубова «“Монументальные” шутки Калининграда». Наличие на диске иллюстраций к статьям в ряде случаев обогащает или «расцветчивает» их визуальный ряд. Для работы В. Познер, которая ссылается на фрагменты кино-

¹ На плакате А.П. Апсита «Обманутым братьям (в белогвардейские окопы)» (1918), не упоминаемом Е.В. Волковым, образ гидры или многоголового змея можно обнаружить с большей определенностью.

хроники, наглядное знакомство читателя с используемым автором материалом без диска вообще было бы невозможным. К сожалению, нередко в книге нет ссылок на иллюстрации с диска (исключение составляют статьи В. Познер, Г.А. Янковской, а также М.Г. Мееровича, где, правда, нумерация изображений на диске после 17 сбилась на один пункт, и Н.В. Суржиковой, где по сравнению с диском перепутаны подписи в статье), отчего некоторые приводимые на CD иллюстрации, не упомянутые в статьях, «провисают». Иногда непонятно, к чему они относятся и как подкрепляют аргументацию автора (например, ил. 5 к статье Р. Сарторти «Albert Rudomine. La Vierge inconnu (1927)»). И наоборот, иногда анализируемых авторами сборника изображений нет даже на диске (к примеру, «живописный коллаж-диптих», разбору которого в статье И.О. Ермаченко посвящено больше двух страниц, у читателя нет возможности увидеть). Однако в целом выпуск книги с мультимедийным приложением можно только приветствовать.

Из мелких недочетов можно указать на использование слова «актер» («исторический актер») в значении «актор» в предисловии и в переводах статей М. Рольфа и М. Рютерс, например: «Визит [императора в Варшаву] открывал пространство для формирования собственного политического опыта и оставался в последующие годы важной референцией для политических дебатов и ожиданий актеров» (С. 334) — речь идет, конечно, не о работниках театральной сферы.

Однако эти недостатки не могут перечеркнуть того факта, что книга является в своем роде единственной и ее появление внесло свой вклад в развитие визуальных исследований в России. Одни статьи заставляют согласиться с авторами, другие — поспорить, но все дают пищу для размышлений и могут вдохновить будущих исследователей визуальных источников.

Библиография

- Булгакова О.* Фабрика жестов. М., 2005.
 Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007.
 Женщина и визуальные знаки. М., 2000.
 ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2007. № 4.
 История страны / история кино. М., 2004.
Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историографический роман). Челябинск, 2008.
Штомпка А. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М., 2007.

Ольга Бойцова

Новая литература по этноботанике



Бродский И.В. *Названия растений в финно-угорских языках (на материале прибалтийско-финских и коми языков)*. СПб.: Наука, 2007. 210 с.

Монография И.В. Бродского, посвященная финно-угорской фитонимике, будет интересна как этнолингвистам, так и историкам культуры, этимологам и этнографам. Автор выбрал в качестве объекта изучения лексику прибалтийско-финских языков и географически близкого им коми-зырянского языка (для этимологических изысканий привлекаются также данные финско-волжских, угорских и саамского языков). Отобранный таким образом материал содержит как древние пласты лексики, общие для прибалтийско-финских народов, так и заимствованные у соседних народов фитонимы, а также новые названия растений, отражая таким образом «историю развития материальной и духовной культуры» (С. 4) соответствующих народов. Сведения почерпнуты из словарей вепсского, водского, ижорского, ливского, финского, эстонского и коми языков (чья фитонимическая лексика изучена весьма неравномерно) и дополнены полевыми материалами автора, собранными в Ленинградской области и Карелии.

В первой главе рассматривается древний фонд финно-угорских фитонимов. Процессы номинации в этот период определяются стремлением отметить наиболее яркие признаки и свойства растений; нередко номинация происходит по нескольким признакам. Все фитонимы делятся на неэтимологизирующиеся (восходящие к различным периодам развития языков, вплоть до доуральского);

Валерия Борисовна Колосова
Институт лингвистических исследований РАН,
Санкт-Петербург
chakra@eu.spb.ru

этимологизирующиеся — исходя из фактов языка, т.е. такие, в основе которых лежит какой-либо признак; заимствования. Приводится представительный ряд примеров доуральского, уральского, финно-угорского, финно-пермского, финно-волжского, прибалтийско-финского происхождения.

Как показывает автор, языковые данные отражают различные этапы хозяйственного развития изучаемых народов. Это собирательство на этапе уральской и финно-угорской языковой общности, появление злакового земледелия и расширение хозяйственного применения дикорастущих растений в финно-пермскую и общепермскую эпохи, дальнейший прогресс в материальной культуре в общеприбалтийско-финскую эпоху.

Отмечая, что в прибалтийско-финских языках доминирует номинация растений по признаку, автор выделяет среди этих признаков следующие: цвет; место и время произрастания; особенности морфологического строения растения; внешняя схожесть растения или его части с каким-либо предметом, другим растением; вкус; запах; способность выделять сок, образовывать семена, споры; особенности поверхности органов растения; звук, издаваемый при воздействии на растение; хозяйственное и лекарственное использование; поверья, связанные с ним; другие признаки (С. 46–47). При этом признаки обладают разной степенью «активности». На одном конце шкалы расположены, скажем, такие важные признаки, как цвет и место произрастания, на другом — поверья о растениях.

Для изучения истории языков важны замечания о связи заимствованной фитонимии с историей взаимодействия народов и языков и с развитием хозяйственной деятельности; о ее фонетическом облике, обусловленном особенностями заимствующих языков, а также о распределении заимствованной фитонимии по языкам-донорам, языкам-посредникам и заимствующим языкам.

Глава вторая посвящена формально-семантической структуре названий растений. В ней рассмотрены растения, в основе номинации которых лежат различные признаки или образные ассоциации, однако признак в них метафорически переосмыслен. Так, «слова со значением ‘шелк’, ‘волос’ обычно маркируют особую тонкость стебля» (С. 98); «слово со значением ‘моча’ всегда маркирует желтый цвет растений» (С. 99). Автор выделяет такие лексико-семантические группы, как названия растений и их частей; названия животных и человека и частей их тел; названия предметов быта, продуктов; природных явлений; веществ и субстанций; болезней; имена собственные; слова других лексико-семантических групп.

Эта глава представляется наиболее интересной в монографии — в первую очередь своим компаративным потенциалом. Так, утверждение о том, что «названия всех хищных животных, употребляемые в качестве атрибута сложного названия гриба или ягоды в прибалтийско-финских языках, указывают на их несъедобность или ядовитость» (С. 103), совпадает с аналогичной особенностью номинации растений у славян¹. Такие наблюдения позволяют ставить вопрос об универсалиях и закладывают основу для сравнительных исследований по разным культурам.

Как и в случае с прямым отражением признака в фитониме, отчетливо видна неравномерность в распределении фитонимов по лексико-семантическим группам. Так, при большом количестве отзоонимных образований наблюдается скромная роль антропонимов.

Глава третья посвящена словообразованию фитонимов в финно-угорских языках. Автор выделяет 1) морфологические способы словообразования (суффиксация и словосложение); 2) морфолого-синтаксические (субстантивация) и 3) семантические (перенос значения). Отмечается разная активность суффиксов, образующих фитонимы. Анализ словообразовательных моделей позволяет сделать выводы о распределении способов словообразования по языкам. Так, в саамском преобладает суффиксация, в волжско-финских — словосложение, в пермских и венгерском — словосложение. В целом «наиболее распространенным (а для коми языка практически единственным) способом морфологического образования фитонимов является словосложение, в то время как суффиксация распространена в значительно меньшей степени» (С. 133).

При безусловно положительном общем впечатлении от монографии, заполняющей большую лакуну в сравнительном изучении финно-угорской лексики, сделаем и некоторые критические замечания. Так, думается, что эстонское название пушицы *villrea* (букв. «шерстяная голова»), которая использовалась для набивки подушек (С. 67), обусловлено все же не столько ее хозяйственным использованием (по крайней мере, не в первую очередь), сколько характерным внешним видом колоса-пуховки, который и обусловил ее применение в быту. Трудно согласиться и с таким утверждением: «Обычно названия национальностей, входящие в состав фитонимов, служат главным образом для обозначения предполагаемого происхождения обозначаемых ими растений. В то же время есть не-

¹ См., напр.: [Меркулова 1967: 98; Дубровина 1991].

сколько примеров, в которых семантическая связь названия национальности и содержащего его фитонима необъяснима» (С. 124). Думается, что по крайней мере часть приведенных примеров может быть объяснена бесполезностью, ядовитостью или несъедобностью соответствующих растений на фоне негативного отношения к соответствующему этносу¹.

Наряду с этими мелкими огрехами отметим и более серьезные недостатки, оба, так сказать, «технического» характера. Во-первых, книге остро не хватает указателя, который в изданиях подобного рода представляется неотъемлемой частью текста. Этот изъян отчасти (но лишь отчасти!) компенсируется подробнейшим оглавлением и удобной (в том числе и с точки зрения визуального восприятия) структурой подачи материала, которая позволяет быстро сориентироваться в поиске по эпохам и способам номинации растений, а внутри них — по языкам. Однако при желании найти конкретный фитоним или все названия одного и того же растения читателю потребуется затратить немало времени. Во-вторых, вызывает сожаление отсутствие латинских эквивалентов при подаче номенклатурных названий растений. Этот недостаток может показаться не столь серьезным исследователям-филологам, однако важности указания латинских названий мы еще коснемся ниже.

* * *



Коппалева Ю.Э. *Финская народная лексика флоры (становление и функционирование).*

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. 287 с.²

Эта книга также посвящена финно-угорской фитонимике, однако на гораздо более узком материале — говорах ингерманландских финнов, проживающих в основном в Ленинградской области и Карелии. Мо-

¹ Об этом явлении см., напр.: [Березович 2007: 112–137, 404–467].

² С текстом монографии «Финская народная лексика флоры (становление и функционирование)» можно ознакомиться на сайте ИЯЛИ КарНЦ РАН: <<http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=2830&plang=r>>.

нография представляет собой первое комплексное изучение данной лексико-семантической группы в этих говорах.

Во введении автор дает краткий обзор истории изучения ингерманландских финских говоров, их развития и современного состояния, а также истории изучения фитонимики финского и родственных языков. Автор, имея богатый опыт полевой работы, отмечает трудности сбора народных названий растений исследователем, не имеющим специального ботанического образования. Ценными представляются замечания по подготовке к сбору материала (работе с определителями, научной терминологией, использованию рисунков и гербариев в процессе интервьюирования), а также по особенностям работы с информантами. Отмечены автором и сложности, вызванные, с одной стороны, забыванием фитонимов, двуязычием информантов, влиянием финского литературного языка, с другой — сокращением и исчезновением ареала распространения многих дикорастущих растений.

В первой главе («Способы и принципы номинации финских народных названий растений») автор рассматривает два способа номинации: наименование по признаку и заимствование. При этом выделение единственного мотивировочного признака возможно не всегда; так, образование названия цветка от слова со значением 'вода' может подчеркивать в одном случае место произрастания, в другом — водянистость растения (С. 54). Отмечаются и такие характерные особенности народной фитонимической лексики, как дублетность и многозначность.

Выделяются некоторые признаки растений, легшие в основу образования фитонимов: цвет, особенности отдельных морфологических частей растения (форма соцветия, плодов, листьев, корня), место произрастания, время произрастания (цветения), вкусовые свойства, съедобность/несъедобность, способность выделять сок, характер поверхности, издаваемый растением звук, запах, использование в народной медицине, народные поверья и обычаи, связанные с растениями, специфические свойства, а также соединение нескольких признаков. Признаки могут отражаться в фитонимах прямо и на основе сравнения.

Заимствованная лексика отражает контакты с балтами, германцами, славянами; при этом русские заимствования — это особенность только ингерманландских говоров, в других финских говорах их нет. Поздние русские заимствования могут существовать параллельно с финскими, причем автор справедливо отмечает сложность решения вопроса о том, калька ли это или самостоятельное возникновение фитонима при наличии одного и того же признака, лежащего в основе номинации. На-

блюдаются различия и внутри групп растений: так, названия ягод составляет исконно финская лексика, среди названий деревьев заимствований мало, в названиях грибов и культурных растений — значительно больше.

Во второй главе («Структурно-словообразовательные модели наименований растений») рассматриваются способы возникновения новых фитонимов — суффиксация, словосложение и лексико-семантический способ. Среди финских фитонимов сложные слова составляют 78 % от общего количества лексем. Сложные наименования, образованные путем словосложения, могут являться двух-, трех- или четырехосновными. Они подразделяются на две большие группы. Названия первой группы образованы синтаксическим способом или способом словосложения и содержат указание на класс растения (дерево, куст, трава, цветок) или его часть (стебель, лист, корень), или же часть названия может сама быть названием растения. Названия второй группы образованы семантическим способом; в них в роли определяемого компонента выступают слова других семантических групп. В таких переносных наименованиях определяющий компонент, имея формальный характер, может варьироваться: так, ромашка уподобляется птичьему/куриному глазу, плаун — вороньим/сорочьим когтям. Большинство таких названий отражают внешние особенности растения, т.е. обусловлены его признаками при помощи сравнения. В основе разных по словообразовательной структуре наименований может лежать один и тот же мотивировочный признак.

Затрагивая диахронный аспект проблемы, автор отмечает, что «многие ныне простые наименования растений появились из сложных в результате эллипсиса. Это древние наименования, потерявшие свою внутреннюю форму, следствием чего явилось отпадение второго компонента» (С. 129). Многие сложные наименования имеют соответствия в других языках, и не всегда можно установить, являются они общими по происхождению или кальками с какого-либо языка.

Отмечая, что «в образовании описательных наименований растений <...> участвуют названия предметов, людей, животных, мифологических существ, собственные имена и т.д.» (С. 133), автор проводит зависимость между функциями этих компонентов и семантической или формальной мотивированностью названий растений. В смысловом содержании компонентов выделяются названия животных, растений, человека, частей тела, имена собственные; беднее представлены предметы быта, орудия труда, названия болезней. Видимо, уникальной для народной финской фитонимики является «роль аллитерации в возникновении и закреплении сложных наименований растений» (С. 142).

Третья глава посвящена синонимическим вариантам народных наименований растений и их распространению в говорах. Одно растение, обладая целым рядом признаков, может получать и множество наименований. Прежде всего это касается тех растений, что не имеют большого значения в хозяйстве, т.е. дикорастущих травянистых (на них и сосредоточился автор в этой главе), а деревья, кустарники, ягоды, грибы и культурные растения чаще имеют общеингерманландские наименования. Для лингвогеографического анализа приведены народные имена бузины, костяники, колокольчика, лютика едкого, манжетки, одуванчика — всего 32 синонимических ряда, сопровождаемые схемами распределения синонимов по говорам. Помимо собственно картографической работы, крайне важной в этноботанических исследованиях, особенно интересны выводы автора в области ареального распространения отдельных фитонимов, причем на уровне не только лексики, но и семантических моделей.

Наконец, с удовольствием отмечу наличие таких приложений, как указатель ингерманландских наименований растений и финско-русско-латинский словарь финских народных названий растений (увы, поиск русских и латинских названий возможен только путем сплошной вычитки).

* * *



Арьянова В.Г. *Словарь фитонимов Среднего Приобья.*
Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006.
Т. 1: А–К. 144 с.



2007. Т. 2: Л–Т. 160 с.



2008. Т. 3: У–Я. 192 с.

Третья книга, с которой хотелось бы познакомиться читателя, отличается от рассмотренных выше и материалом (фитонимической диалектной лексикой Среднего Приобья), и функцией, поскольку представляет собой словарь. Он является частью серии среднеобских диалектных словарей, выходящих в Томске начиная с 1992 г. «Словарь фитонимов Среднего Приобья» содержит 1730 наименований (345 словарных статей) в томе первом, 1610 наименований (340 словарных статей) в томе втором. В третий том, кроме заключительной части словаря (440 наименований, 75 словарных статей), включен и алфавитный словник диалектных фитонимов с указанием номенклатурных эквивалентов.

Словарь включает все названия растений Среднего Приобья, записанные в 50–90-е гг. XX — нач. XXI в. в диалектологических экспедициях студентами и сотрудниками Томских университетов и пединститута, а также Кемеровского университета. Словарь не ограничивается какой-то одной группой лексики флоры, в него включены названия деревьев, кустарников, травянистых дикоросов, грибов, ягод и мхов, а также культурных растений, включая отдельные сорта.

Заголовком словарной статьи служит русское номенклатурное название растения в сочетании с латинским номенклатурным названием (отметим, что латинские эквиваленты определены сотрудниками Гербария Томского университета; определение сортов культурных растений осуществлялось при консультациях специалистов-агрономов Томска и области). Затем в алфавитном порядке приводятся диалектные фитонимы с ударениями; помечены единичные употребления. В толковании дано ботаническое описание растения. Наконец, в иллюстративной части содержатся образцы диалектной речи с упоминанием фитонимов. В приведенных контекстах содержатся народные названия, информация об использовании в быту и медицине, этиологические легенды. Фитонимы отражают реальные признаки растений, а их объяснения изнутри традиции демонстрируют связь с мифологическими представлениями. Для каждой цитаты приводится место записи.

Сознавая сложность работы с такой специфической областью народной культуры, как представления о растениях, автор снабдил издание кратким словарем ботанических терминов и сведениями о морфологии растений в рисунках. Остается лишь пожелать, чтобы такие же исчерпывающие словари фитонимической лексики появились и для других областей России. Пока же в диалектных словарях нередки такие «толкования» фитонимов, как ‘растение (какое?)’, а об исследованиях фитонимики отдельной деревни¹ пока не приходится и мечтать.

Может показаться, что рассмотренные книги объединены чисто формально, и ничего, кроме общей темы, их не связывает. Однако с точки зрения перспектив развития этноботаники они представляют собой последовательные этапы необходимой работы. Словарь В.Г. Арьяновой представляет собой об-

¹ Подобных, например, исследованию: [Rogowska-Cybulska 2005].

разцовую работу по сбору и определению фитонимов и относящейся к ним информации. Уже на этом этапе видно, как в фитонимах отражаются признаки растений. Их выявление, классификация и способы отражения признака в фитониме, а также выявление лексико-семантических групп, использованных в фитонимике, составляют следующий этап работы, причем желательно, чтобы такая работа проводилась на материале группы родственных языков. Кроме того, для выявления символики растения в народной культуре необходим учет фольклорных данных. Важный аспект работы этноботаника — составление описаний отдельных растений с учетом связи их названий с фольклорными и этнографическими данными, причем каждое такое описание должно сопровождаться картой распространения фитонимов. На материале одного языка были бы полезны и карты, отражающие словообразовательные средства, а также географическое распределение суффиксов¹.

Такая работа, выполненная на материале отдельных языков, является необходимой платформой для дальнейших типологических исследований. Интересно было бы выявить сходства и различия в наборе признаков, отраженных в фитонимике разных культур (как соседствующих, что помогло бы прояснить вопрос о заимствованиях, так и не имеющих контактов) и в способах отражения этих признаков. Важно сравнить набор лексико-семантических групп (названия животных, предметы, антропонимы), с помощью которых признаки метафорически отражаются в фитонимике, выявить общие и специфические черты в «портретах» отдельных растений в разных традиционных культурах.

Библиография

Березович Е.Л. Язык и традиционная культура. М., 2007.

Дубровина С.Ю. Русская ботаническая терминология в этнолингвистическом освещении (на материале названий растений, образованных от названий животных и птиц): автореф. дис. ... к.ф.н. М., 1991.

Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967.

Cholioltschev Ch. Onomasiologische und derivative Struktur der bulgarischen Phytonyme (Beitrag zur bulgarischen volkstümlichen Phytonymie). Wien, 1990. *Miscellanea Bulgarica* 8.

¹ Как, например, это сделано на материале болгарского языка в монографии: [Cholioltschev 1990].

Rogowska-Cybulska E. Gwarowy obraz ro lin w wietle aktywno ci nomina-
cyjnej ich nazw. Gdańsk, 2005.

Валерия Колосова